This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

UC-NRLF
B 3 466 046

BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

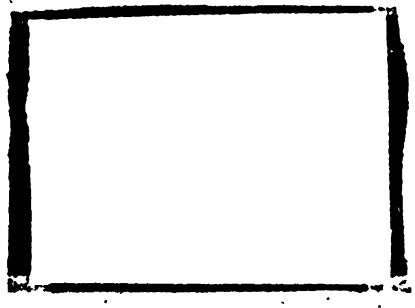
This is an authorized facsimile
printed by microfilm/xerography on acid-free paper
in 1985 by
UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL
Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

85547
7.5.1862
1

СОЧИНЕНІЯ

А. А. КОТЛЯРЕВСКАГО.

ТОМЪ I.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
(Вас. Остр., 9 лин., № 12.)
1889.

7228-1716

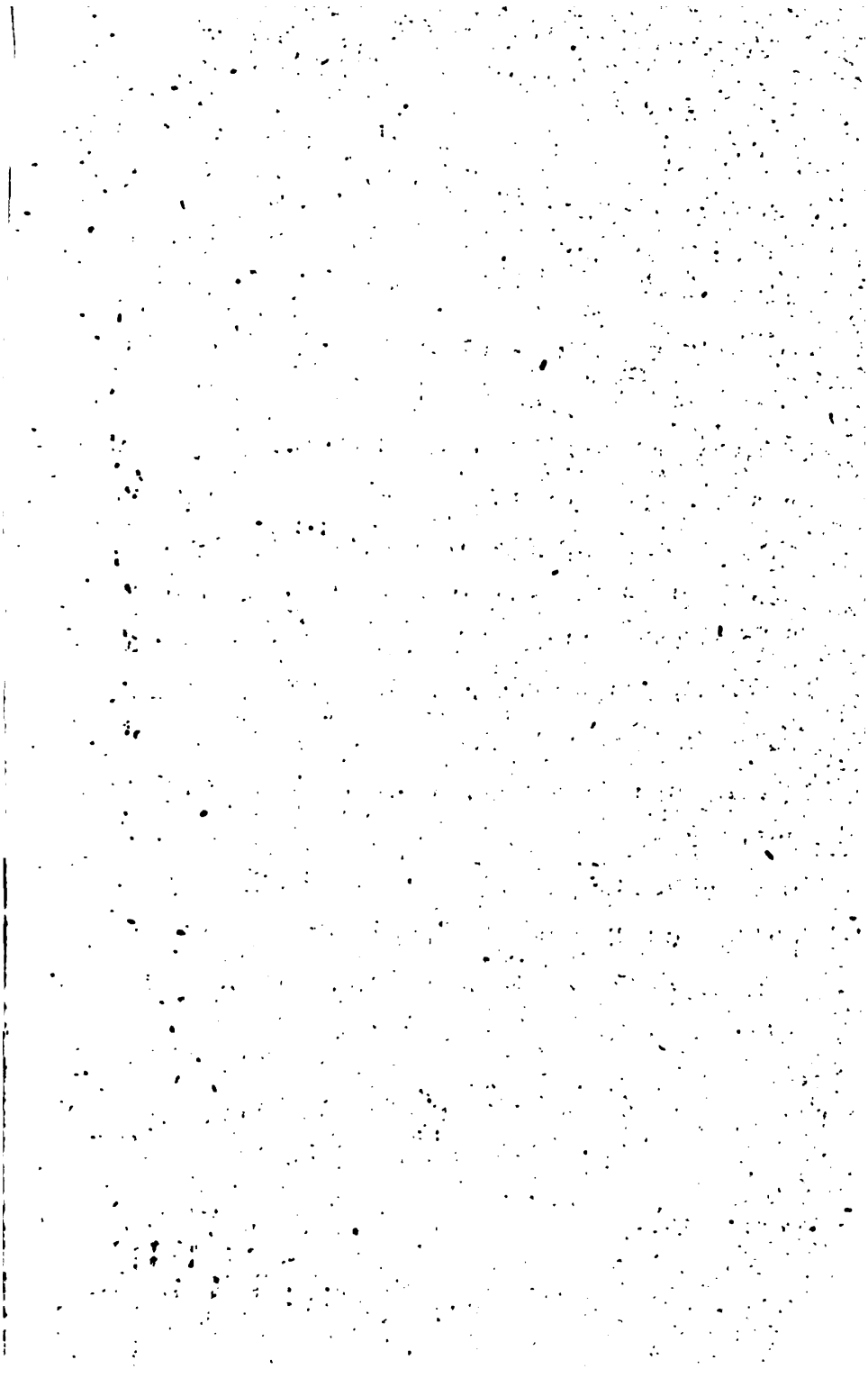
PG 2950
K61
1889a
v.1
MAIN

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
С.-Петербургъ, Апрѣль 1889 года.

Непремѣнный Секретарь, Академикъ К. Веселовскій.

При учрежденіи въ 1883 году, съ Высочайшаго соизволенія, преміи имени профессора А. А. Котляревскаго на пожертвованныя вдовою его средства, Отдѣленіе русскаго языка и словесности опредѣлило издать собраніе сочиненій этого замѣчательнаго ученаго, большею частью разсѣянныхъ въ разныхъ журналахъ и газетахъ и притомъ появлявшихся часто подъ разными псевдонимами. Желая такимъ образомъ спасти отъ забвенія труды, которые еще надолго сохранятъ свое достоинство и значеніе, Отдѣленіе выпускаетъ нынѣ 1-й томъ этого собранія. Очеркъ біографіи Котляревскаго будетъ помѣщенъ при одномъ изъ послѣдующихъ томовъ.

Январь 1889 г.



Нѣсколько словъ о Ломоносовѣ, по поводу исполнившагося столѣтія его грамматикѣ.

1855.

Сегодня, 20-го декабря, второе отдѣленіе Императорской Академіи Наукъ празднуетъ столѣтнюю годовщину замѣчательнѣйшаго явленія въ исторіи своей ученой дѣятельности — Русской грамматики Ломоносова.

На этотъ праздникъ высшаго ученаго сословія, безъ сомнѣнія, откликнется съ сочувствіемъ всякій, кому дорого родное слово. Мы, съ своей стороны, позволимъ себѣ сказать только нѣсколько словъ въ воспоминаніе незабвеннаго труда Ломоносова на пользу науки русскаго слова.

До сихъ поръ еще не оцѣненъ вполнѣ подвигъ Ломоносова: его грамматика, непростительнымъ образомъ, забыта: ее читаютъ немногіе; другіе же, не исключая нѣкоторыхъ новѣйшихъ грамматистовъ, не хотятъ даже вспомнить, чѣмъ обязаны они ей! Отдѣленіе Русскаго языка и словесности Академіи Наукъ, предположивъ ознаменовать столѣтнюю годовщину первой Русской грамматики — новымъ изданіемъ ея [1]), конечно воздастъ должное заслугѣ Ломоносова и достойнымъ образомъ оцѣнитъ трудъ его; мы же ограничимся однимъ общимъ взглядомъ на дѣло Ломоносова въ отношеніи къ наукѣ русскаго языкознанія.

---

1) Извѣстія 2-го Отдѣл. Императорской Академіи Наукъ, т. 4-й, вып. 5-й, р. 252. Протоколъ засѣданій.

Не будемъ останавливаться на томъ, какой переворотъ въ литературномъ языкѣ былъ сдѣланъ Ломоносовымъ, какъ собственнымъ примѣромъ сумѣлъ онъ утвердить за русскимъ языкомъ права гражданства въ литературѣ и опредѣлить его отношенія къ языку церковно-славянскому. Всѣмъ извѣстно, какъ съ Ломоносова началась та рѣчь, которою мы пишемъ донынѣ и будемъ писать; мы займемся его теоретическими трудами для русскаго слова, его грамматикой, разсужденіемъ о пользѣ чтенія книгъ церковныхъ, планомъ его филологическихъ занятій. Они были слѣдствіемъ преобразованія литературнаго языка; въ нихъ Ломоносовъ выражалъ теоретически то, что́ прежде совершилъ на практикѣ; ими онъ, такъ сказать, ограждалъ отъ всякой непріязни свое литературное дѣло. Какъ это дѣло было во всѣхъ отношеніяхъ ново и неожиданно, такъ и теоретическій трудъ его былъ первымъ опытомъ Русской грамматики, началомъ, изъ котораго, впослѣдствіи, развилась вся теорія русскаго языка. Какъ тамъ, такъ и здѣсь, Ломоносовъ является одинъ, почти не имѣя предшественниковъ; въ обоихъ отношеніяхъ ему принадлежитъ, по праву, честь устроителя русскаго языка и создателя собственно Русской грамматики.

Какъ ни мало имѣемъ мы свидѣтельствъ о томъ, по какимъ грамматическимъ руководствамъ учились *язычной мудрости* предки наши, но все же и по существующимъ даннымъ можно утвердительно сказать, что до Ломоносова не было и не могло быть *Русской* грамматики. Это подтверждается какъ характеромъ древняго русскаго образованія и литературы, такъ и дошедшими къ намъ отъ того времени грамматическими руководствами.

На какомъ же языкѣ воспитывались наши предки?

Одну изъ задачъ современной славянской филологіи, задачу, полное рѣшеніе которой нынѣ едва ли возможно, составляетъ вопросъ о разграниченіи двухъ стихій нашего древняго письменнаго языка: церковно-славянской и собственно-русской.

Историческія условія неразрывными узами связали эти двѣ стихіи въ одинъ сплошной языкъ, какой мы встрѣчаемъ во всѣхъ

памятникахъ древней русской литературы: имъ писаны лѣтописи, поученія пастырей церкви, житія св. угодниковъ Божіихъ, самыя свѣтскія произведенія, каковы: Слово о Полку Игоревѣ, посланіе Даніила Заточника и др. Никто, кажется, не станетъ утверждать, что языкъ этихъ произведеній, сколь бы ни была значительна въ немъ русская стихія, есть языкъ собственно русскій; никто также не станетъ оспаривать и того, что онъ существенно отличенъ отъ языка устныхъ произведеній русскаго народа, языка, который очень близокъ къ разговорной рѣчи. Поэтому, нѣтъ никакихъ причинъ не принять того мнѣнія, что на Руси встарь было два языка: церковно-славянскій и русскій.

Назначить точные предѣлы употребленію того и другого нѣтъ никакой возможности: во многихъ случаяхъ эти двѣ стихіи древняго русскаго литературнаго языка такъ нераздѣльно, крѣпко сливаются одна съ другою, что рѣшительно нѣтъ средствъ, безъ опасенія посягнуть на цѣлостность древнихъ формъ того или другого языка, указать на то, что́ именно въ нихъ церковно-славянскаго и что́ собственно русскаго... Подобный анализъ, впрочемъ, едва ли можетъ быть названъ вполнѣ необходимымъ, — и наши изслѣдователи языка славянскаго на мѣсто его ставятъ другую, болѣе важную задачу: обозначеніе вліянія русскаго элемента на церковно-славянскій [1]).

«Loquendum est Russice, scribendum — Slavonice», говорятъ одинъ иностранецъ XVII столѣтія о нашемъ языкѣ того времени, и эти слова его, какъ нельзя лучше, могутъ быть приложены и къ болѣе отдаленной древности: языкомъ вѣры, литературы и вообще всего, что́ сколько-нибудь выступало изъ колеи обыденной жизни въ древней Руси, былъ языкъ церковно-славянскій; языкомъ же разговора, ежедневнаго употребленія — языкъ собственно русскій. Понятно отсюда, въ какомъ отношеніи стояли оба языка къ дѣлу *ученія книжнаго*, дѣлу, къ ко-

1) В. И. Григоровича. Статья, касающіяся древняго славянскаго языка. Казань, 1852 г., р. 14—15.

тороиу прилежали пастыри церкви и люди книжные — дѣятели литературы: языкъ русскій, ограниченный сферою домашняго быта, уступалъ право гражданства языку образованности—церковно-славянскому. Поэтому-то и всѣ древнѣйшія грамматическія руководства славянскаго языка имѣли основаніемъ своимъ языкъ перевода книгъ Св. Писанія.

Вѣроятно, грамматическія правила церковно-славянскаго языка были въ большомъ ходу въ старину, и ими пользовались старинные переводчики Св. Отцевъ церкви и вся *книжная чадь*[1]); иначе, какъ объяснить эту необыкновенную правильность и послѣдовательность въ употребленіи формъ древняго славянскаго языка, какую встрѣчаемъ мы въ древнѣйшихъ церковно-славянскихъ рукописяхъ русскаго, болгарскаго и сербскаго изводовъ? Но отъ древности дошло къ намъ мало славянскихъ грамматикъ—и то, по большей части, копіи съ греческихъ. Такъ Іоаннъ экзархъ Болгарскій, въ своемъ переводѣ Дамаскина *Объ осмихъ частяхъ слова*[2]), уже предлагаетъ и нѣкоторыя замѣтки о церковно-славянской рѣчи, примѣняя ихъ къ греческимъ правиламъ; а сокращеніе грамматическаго опыта о буквахъ Константина, философа Костенческаго, по замѣчанію его издателя, имѣетъ образцомъ своимъ подобное же сочиненіе греческаго грамматика Мануила Москопола, подражая которому, философъ Костенческій пытался подвести подъ греческую теорію звуки церковно-славянскаго языка[3]). Въ такомъ чисто-греческомъ направленіи продолжала развиваться граматика славянская и далѣе: Ἀβελφότης, *грамматика доброгласиваго эллино-славянскаго языка*, написанная *студеями* Львовской школы въ 1591 г.; грамматика

1) В. И. Григоровича. Статьи, касающ. древн. слав. языка. Казань, 1852, p. 28—31.

2) К. Калайдовича Іоаннъ Ексархъ Болгарскій. М. 1824 г., p. 76, 79, 130—1.

3) В. И. Григоровича. Статьи, касающ. etc., p. 32. Въ этихъ *словесахъ* отрывки, избранныхъ отъ книги Константина Костенческаго, насъ останавливаетъ указаніе на Терновскіе и Рессавскіе изводы грамматическихъ правилъ древняго славянскаго языка для людей книжныхъ, чѣмъ лучше всего доказывается существованіе подобныхъ правилъ въ древности. См. стр. 36—38, 48—49.

протоіерея *Лаврентія Зизанія* 1596 г., хотя и писанная на малороссійскомъ книжномъ нарѣчіи; *Грамматики славянскія правильное Синтагма* Мелетія Смотрицкаго, напечатанная впервые въ 1618 г.[1]).—Всѣ они обыкновенно брали готовую схему греческой грамматики и подъ ея правила подводили теорію церковнославянскаго языка... Русскій элементъ является только уже въ московскомъ изданіи грамматики Смотрицкаго и состоитъ въ замѣнѣ нѣкоторыхъ *необыкновенныхъ* флексій и формъ церковнославянскаго или польскаго языка — великорусскими; ибо «наста нужда собрати отъ различныхъ въ кратцѣ сію граматіку, съ приложеніемъ *простыхъ* реченій, понеже въ ней (Мелетіевой) *обдержатся славянская речения Россійски въ мало разумѣваема*»[2]). Иностранецъ Лудольфъ, кажется, первый далъ перевѣсъ русской стихіи предъ церковно-славянскою въ своей Grammatica Russica. Oxonii 1696 г. Не отказывая автору этой грамматики въ извѣстной долѣ *пониманія* тогдашняго состоянія русскаго языка, мы, однако, не можемъ приписать ему какое бы ни было вліяніе на Ломоносова. Если послѣдній дѣйствительно зналъ грамматику Лудольфа, то въ ней ему нечѣмъ было воспользоваться: Лудольфъ едва зналъ нашъ языкъ и напечаталъ свою грамматику, — употреблю счастливое выраженіе Каченовскаго, — единственно для пробы новыхъ славянскихъ буквъ, отлитыхъ въ Оксфордѣ.

Въ такомъ состояніи находилось русское языкознаніе, когда Ломоносовъ взялся установить теорію русскаго слога[3]). Опыты

---

1) Я не упоминаю о книгѣ критической грамматикѣ, написанной на сербскомъ и сличенной съ языками русскимъ, польскимъ, кроатскимъ и нарѣчіемъ бѣлорусскимъ. См. Калайдовича, Іоаннъ Екзархъ Болгарскій, р. 120—1. Она не имѣла хода въ нашемъ отечествѣ и, вѣроятно, не была извѣстна Ломоносову; равнымъ образомъ не останавливаюсь я и на правилахъ словенской ореографіи, напечат. у Калайдовича, стр. 255—276, и предлагающей правила не языка, а правописанія только.

2) Слова изъ предисловія къ сокращ. Мелетіевой грамматикѣ, сдѣланной въ 1723 г. Ѳ. Максимовымъ, стр. 8.

3) Превосходно охарактеризовалъ это состояніе русской грамматики крестьянинъ Посошковъ, сказавъ, что «нынѣ напечатано въ Москвѣ тысячъ пять, шесть грамматикъ, да Богъ вѣсть какія». Соч. Посошкова, изд. Погодина. М. 1842 г., стр. 11.

предшественниковъ въ этомъ отношеніи, какъ видно, немногимъ могли служить ему, если бы онъ самъ не имѣлъ въ себѣ силы создать русскую грамматику, осуществить въ теоріи то, что́ было сдѣлано имъ же, прежде, на практикѣ. Всѣ предшествовавшіе ему грамматисты (кромѣ Лудольфа) давали исключительный перевѣсъ церковно-славянской стихіи надъ русскою, рабски держась правилъ греческой грамматики и подводя подъ нихъ всѣ самобытныя, исконныя особенности церковно-славянскаго и русскаго языковъ. Такое насиліе славянскаго языка, такое посягательство на лучшія древнѣйшія его формы только изъ-за того, чтобы сдѣлать его *равнымъ* эллинскому языку, имѣло сильное, хотя и отрицательное вліяніе на Ломоносова: оно заставило его измѣрить глубину и силу обоихъ языковъ, зорко всмотрѣться въ ихъ особенности. Плодомъ этого было разсужденіе о пользѣ чтенія книгъ церковныхъ и Россійская грамматика, которой сегодня исполнилось сто лѣтъ. Ломоносовъ приступилъ честно къ дѣлу, безъ преднамѣренія *возвысить* достоинство своего языка натяжкою его флексій и синтаксиса на формы языка греческаго [1]). Онъ оставилъ этотъ обычай прежнихъ грамматистовъ, и тѣмъ самымъ призналъ уже самостоятельность двухъ языковъ, или двухъ стихій древняго литературнаго русскаго языка, церковно-славянской и русской. Отправляясь отъ мысли, общей всѣмъ грамматистамъ-практикамъ, «что общая грамматика есть философское понятіе всего человѣческаго слова, а особливая, какова Россійская грамматика, есть знаніе, какъ говорить и писать чисто россійскимъ языкомъ по лучшему и разсудительному его употребленію» [2]), Ломоносовъ, естественно, долженъ былъ дать перевѣсъ русской стихіи, но не *въ* ущербъ церковно-славянской, являющейся въ его философіи языка русскаго необходимою, существенною частію его, чѣмъ-то нераздѣльнымъ, свя-

1) Россійская грамматика Ломоносова, 1-е изд. 1755 г., стр. 20, 21, 24 и 28. И во всемъ своемъ трудѣ почти на каждой страницѣ Ломоносовъ явно возстаетъ на подчиненіе языка славянскаго формамъ греческой грамматики.

2) Россійская грам. 1-е изд. 1755 г. Спб., стр. 38.

заннымъ историческими воспоминаніями и условіями, освященнымъ цѣлымъ рядомъ вѣковъ протекшей русской жизни. Такъ явилась *первая* собственно Русская грамматика: стихія русская легла въ основу ея, церковно-славянская же явилась дружною помощницею... Дѣйствительно, достаточно одного легкаго знакомства съ грамматикою Ломоносова, чтобы вполнѣ убѣдиться въ этомъ, и мы считаемъ нелишнимъ привести здѣсь изъ нея два, три мѣста, подтверждающія это мнѣніе. О родительномъ падежѣ единственнаго числа сущест. им. род. мужеск. § 167: «Происшедшія отъ глаголовъ употребительнѣе имѣютъ въ родит. *у* и тѣмъ больше оное принимаютъ, чѣмъ далѣе отъ *словенскаго отходятъ;* а словенскія, въ разговорахъ мало употребляемыя, лучше удерживаютъ *а*: размахъ, размаху и пр.». О дѣепричастіи, § 351: «Дѣепричастія на *ючи* пристойнѣе у *точныхъ россійскихъ* глаголовъ, *нежели* у тѣхъ, которые *отъ словенскихъ происходятъ;* и напротивъ того, дѣепричастія на *я употребительнѣе у словенскихъ, нежели у россійскихъ*. Напримѣръ, лучше сказать *толкаючи*, нежели *толкая;* но напротивъ того, лучше употребить *дерзая*, нежели *дерзаючи*...» и пр. (стр. 125). Итакъ съ Ломоносова началась первая русская грамматика; методъ, употребленный имъ въ разложеніи стихій языка, былъ методомъ въ то время общимъ всему европейскому языкознанію: школа Готшеда, съ ея чисто-практическимъ воззрѣніемъ на науку языка, какъ на средство правильно говорить и писать, съ одной стороны; философское начало, внесенное въ науку Куръ-де-Жебленомъ съ другой, составили тотъ методъ и воззрѣніе на языкъ, которыми характеризуется грамматика Ломоносова.

Ограничившись преимущественно практическою стороною дѣла и достигая въ извѣстной степени своей цѣли, это воззрѣніе на языкъ не исчезло и понынѣ, несмотря на плодотворные успѣхи сравнительно историческихъ разысканій В. Гумбольдта, Боппа, братьевъ Гриммовъ въ наукѣ языковѣдѣнія. Наши грамматисты-практики въ этомъ отношеніи недалеко ушли отъ Ломоносова и, будучи обязаны его грамматикѣ фундаментомъ, на-

чаломъ своихъ трудовъ, они, съ одинаковымъ правомъ, могутъ вести и начало своего метода, взгляда на языкъ, отъ той же грамматики Ломоносова. Вотъ значеніе грамматическаго дѣла Ломоносова для нашихъ русскихъ грамматистовъ-практиковъ. Созданіемъ собственно Русской грамматики не ограничивается подвигъ Ломоносова: предчувствуя важное значеніе для науки народныхъ (областныхъ) словъ и выраженій, Ломоносовъ внесъ ихъ въ свою грамматику и тѣмъ положилъ камень во главу угла, современной науки русскаго языкознанія. Современники не поняли этой мысли Ломоносова и упрекали его въ томъ, что «онъ московское нарѣчіе въ холмогорское превратилъ», что «въ его грамматику вошло множество порчи языка»[1]) и пр.; ближайшіе потомки не обратили на нее (мысль Ломоносова) вниманія, и только наука, благодаря своимъ успѣхамъ въ настоящее время, оправдала ее и воздала ей должное.

Такова, по нашему мнѣнію, заслуга Ломоносова для русскаго языкознанія: онъ первый, повторяю, создалъ русскую грамматику, далъ языку русскому право гражданства въ литературѣ, опредѣлилъ его отношеніе къ языку церковно-славянскому, предложилъ правила для практическаго его употребленія и, наконецъ, указалъ на лучшій путь въ наукѣ языка, на значеніе народнаго элемента.

Великъ этотъ подвигъ Ломоносова, установителя, наряд-чика русскаго языка; вѣчно памятенъ онъ для потомства, благодарныхъ чувствъ котораго къ своему незабвенному поэту и грамматисту достойнымъ органомъ является сегодня высшее русское ученое сословіе, празднуя столѣтіе первой русской грамматики!

---

1) Сочиненія Сумарокова, изд. Нов. Ч. 10-я, стр. 5 и слѣд.

„О лѣтописи Якимовской", П. А. Лавровскаго.

1856.

Въ наукѣ русской исторіи едва ли сыщется хоть одинъ вопросъ, которому бы назначена была такая злая судьба, какъ вопросу о Лѣтописи Якимовской! Каждая черта русской исторіи, особенно древней, какъ бы ни была она мелка, вызываетъ не только вниманіе, но и строгій, ученый споръ; почти каждый вопросъ въ русской исторической наукѣ имѣетъ свою литературу, своихъ защитниковъ и враговъ. Якимовская Лѣтопись можетъ похвалиться только этимъ послѣднимъ, да и здѣсь, какъ хвалиться тѣмъ, что, при ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла, оно покажетъ одну общую къ себѣ невнимательность! Въ то время, когда лѣтопись преподобнаго Нестора, какъ памятникъ русской исторіи, когда родовой и общинный бытъ, какъ ея явленія — вызывали и вызываютъ такіе жаркіе ученые споры и разнообразныя мнѣнія, въ это время, заклейменный позорнымъ именемъ Татищевскаго подлога, отрывокъ Якимовской Лѣтописи не находилъ ни друзей, ни враговъ: ей вѣрили и не вѣрили, находили въ ней истину и отрицали ее; все это дѣлалось, какъ говорится, спустя рукава. Это былъ одинъ изъ самыхъ сонныхъ вопросовъ русской исторической науки. Только въ послѣднее пятнадцатилѣтіе вопросъ о Якимовской Лѣтописи началъ вступать въ свои права, и предъявилъ справедливыя требованія на вниманіе ученыхъ.

Академикъ П. Г. Бутковъ въ своей «Оборонѣ и т. д.» первый оправдалъ нѣкоторые факты отрывка Якимовской Лѣтописи. За нимъ преосвященный Макарій (1846 г.), профессоръ С. М. Соловьевъ (1851 г.) и нѣкоторые другіе, оправдывая въ своихъ историческихъ трудахъ все болѣе и болѣе многія извѣстія этой лѣтописи, успѣли утвердить въ другихъ вѣру къ ней, и тѣмъ самымъ указали на необходимость подробнаго изслѣдованія вопроса о Якимовомъ отрывкѣ. И вотъ выходитъ новый

трудъ г. Лавровскаго: «Изслѣдованіе о Лѣтописи Якимовской», о которомъ постараемся дать отчетъ читателю, на сколько позволитъ статья газетнаго фельетона.

Еще прежде, мѣсяца за два до полученія книги г. Лавровскаго, прочли мы въ Архивѣ Историко-Юридическихъ Свѣдѣній, относящихся до Россіи, издаваемомъ Н. В. Калачовымъ (книга 2, пол. 1-я), статью профессора С. М. Соловьева: «Писатели Русской Исторіи 18-го вѣка», гдѣ помѣщена подробная характеристика дѣятельности Татищева. Личность и дѣятельность Татищева такъ тѣсно связаны съ вопросомъ о сохраненномъ имъ отрывкѣ Якимовской Лѣтописи, что, говоря о первомъ, нельзя обойти второго, и г. Соловьевъ посвящаетъ ему нѣсколько (23, 25, 38, 39) страницъ своей статьи. Разсматривая только одну сторону вопроса, именно участіе Татищева въ сохраненіи отрывка и его добросовѣстность въ этомъ случаѣ, профессоръ непререкаемыми доводами снимаетъ черное пятно, наложенное на его полезную, изумительную своею громадностью дѣятельность Шлецеромъ съ братіей. Статья профессора превосходна во всѣхъ отношеніяхъ, и мы совѣтуемъ прочесть ее съ трудомъ г. Лавровскаго, къ которому и возвращаемся. Изслѣдованіе о Лѣтописи Якимовской авторъ начинаетъ изложеніемъ судебъ этого вопроса въ исторической наукѣ. Здѣсь находится очень вѣрное опредѣленіе характера дѣятельности Шлецера по отношенію къ русскимъ писателямъ исторіи вообще и Татищеву въ особенности; потомъ слѣдуетъ глава объ открытіи Лѣтописи Якимовской (17—22), какъ внѣшнія доказательства ея неподдѣльности; далѣе разборъ первой половины Якимовской Лѣтописи, вмѣщающей въ себѣ событія до-Рюриковскаго времени (22—43), разборъ второй половины ея съ событіями времени историческаго (43—81) и наконецъ заключеніе въ пользу отрывка. Еслибъ было принято дѣлать приговоры a priori, мы сказали бы, что сочиненіе г. Лавровскаго, при всѣхъ своихъ ученыхъ достоинствахъ (а ихъ очень много), не есть послѣднее слово русской исторической науки о Лѣтописи Якимовской, и

заставляетъ желать новаго, полнѣйшаго преслѣдованія вопроса.

Пушкинъ гдѣ-то сказалъ: «Писателя надо судить по законамъ, имъ самимъ надъ собою признаннымъ». Г. Лавровскій избралъ задачею своего разысканія вопросъ о Якимовомъ отрывкѣ: «Я намѣренъ, говоритъ онъ, предпринять обозрѣніе этого памятника (Яким. Лѣт.) въ *цѣломъ его* составѣ и *во всей подробности*» (стр. 17). — И мы требуемъ отъ его труда полнаго, всесторонняго изслѣдованія о Лѣтописи Якимовской!... Находимъ ли мы это въ изслѣдованіи г. Лавровскаго? Нисколько! Еслибъ г. Лавровскій избралъ своею задачею одну защиту достовѣрности Якимова отрывка... тогда, ни слова: трудъ его былъ бы во всѣхъ отношеніяхъ образцовымъ; теперь же, прочитавъ его, мы можемъ, кажется, только вынести полное убѣжденіе въ неподдѣльности этого отрывка и въ томъ, что онъ значительно восполняетъ пробѣлы въ древнѣйшихъ извѣстіяхъ преподобнаго Нестора. Но, можетъ быть, нашъ голословный приговоръ покажется многимъ изъ читателей слишкомъ строгимъ и неубѣдительнымъ. Поэтому позвольте намъ войти въ небольшія подробности о томъ, чего именно, по нашему крайнему убѣжденію, недостаетъ въ трудѣ г. Лавровскаго. Авторъ ограничилъ разборъ 2-й части Якимовскаго отрывка одними фактами (стр. 80), которыхъ нѣтъ въ лѣтописи Нестора. Почему? Вѣроятно потому, что въ лѣтописи преподобнаго Нестора, по словамъ одного изъ нашихъ ученыхъ (К. Д. Кавелина), нѣтъ ни одного слова, которое бы не было критически объяснено лучшими изслѣдователями нашей исторіи, потому что объяснять слова Нестора теперь едва ли не значитъ то же самое, что̀ повторять старое... Подобное оправданіе такого ограниченія предмета своего разсмотрѣнія дѣйствительно могло было быть принято, еслибъ г. Лавровскій, какъ мы уже сказали, взялъ въ задачу только защиту достовѣрности отрывка; но, рѣшая вопросъ о Лѣтописи Якимовской въ цѣломъ ея составѣ и подробностяхъ, спрошу: можетъ ли подобная оговорка быть допущена? Развѣ часть равна

или составляетъ одно и то же, что̀ цѣлое? Да и всегда ли объяснять извѣстія Нестора значитъ говорить старое? Но положимъ, что это и дѣйствительно такъ: все же слѣдовало, по крайней мѣрѣ, указать на факты Якимова отрывка, подобные съ Несторовыми, показать отношеніе между ними и, если можно, пояснить сказаніемъ Якима преподобнаго Нестора, и наоборотъ. Это самый видный пробѣлъ въ сочиненіи г. Лавровскаго. Особенную важность придаетъ авторъ Якимову отрывку для исторіи русской церкви, относительно первоначальнаго распространенія христіанства и борьбы его съ язычествомъ. Мысль вполнѣ справедливая и уже тѣмъ самымъ вызывающая невольный вопросъ: въ чемъ же именно эта важность и драгоцѣнность отрывка? какія новыя событія передаетъ онъ намъ? На это въ изслѣдованіи г. Лавровскаго мы встрѣтили голословный отзывъ въ полстранички, не болѣе! Мы не будемъ долго останавливаться на частныхъ мнѣніяхъ и догадкахъ автора, по большей части, если не вполнѣ справедливыхъ, по крайней мѣрѣ, вполнѣ вѣроятныхъ: скажемъ только, что и въ нихъ можно найти не мало спорнаго и неубѣдительнаго. Особенно это должно сказать о замѣчаніяхъ г. Лавровскаго касательно первоначальнаго вліянія христіанскихъ элементовъ на руссовъ, еще не просвѣтившихся святымъ крещеніемъ. Г. Лавровскій оканчиваетъ свое изслѣдованіе слѣдующими словами: «Будемъ признательны къ памяти несправедливо запятнаннаго упрекомъ въ подлогѣ Татищева, передавшаго потомству отрывокъ Якимовскій и сообщившаго о немъ свои замѣчанія. Я, съ своей стороны, почту себя счастливымъ, если всѣмъ этимъ разсужденіемъ хотя на одну черту содѣйствовалъ раскрытію несправедливости этого укора» (стр. 84). Если только это было цѣлью автора, то мы, съ своей стороны, поздравляемъ его съ полнымъ успѣхомъ... Но русская историческая наука еще ждетъ полнаго изслѣдованія о Якимовской Лѣтописи; трудъ г. Лавровскаго, какъ первый твердый шагъ къ этому, представляетъ собою драгоцѣнный матеріалъ для будущаго изслѣдователя. Съ нетерпѣніемъ ожидаемъ обѣщанной ака-

демикомъ П. Г. Бутковымъ подробной записки о Якимовомъ отрывкѣ, ради пользы науки, желая, чтобы и самый отрывокъ былъ изданъ вторично, во всеобщее пользованіе, чего, при рѣдкости Исторіи Татищева, лишены очень и очень многіе. Въ заключеніе скажемъ, что трудъ г. Лавровскаго, истинное пріобрѣтеніе русской исторической науки, содержитъ въ себѣ много свѣтлыхъ мыслей и блестящихъ догадокъ. Изъ уваженія къ этимъ-то достоинствамъ рѣшились мы высказать откровенно наши замѣчанія, надѣясь, что г. Лавровскій не приметъ ихъ въ дурную сторону.

По поводу сочиненія г. Данилевскаго объ Основьяненкѣ.

1856.

При современномъ состояніи исторіи русской словесности, когда каждый вопросъ ея находитъ даровитыхъ и надежныхъ истолкователей, опытный глазъ не можетъ не примѣтить на страницахъ ея значительнаго пробѣла: до сихъ поръ не воздано должное младшей сестрѣ и спутницѣ русской литературы—словесности малороссійской, или украинской; изслѣдователи ставили въ тѣни всѣ ея явленія или вовсе не упоминали о нихъ, считая ихъ незначительными случайностями.

Мы не будемъ входить въ опроверженіе подобнаго мнѣнія, не станемъ также защищать литературную состоятельность языка украинскаго; но попытаемся въ немногихъ словахъ показать, что въ ней есть своя жизнь и свое развитіе, что она имѣетъ полное право на почетное мѣсто въ общей исторіи русской литературы, какъ необходимая, законная часть ея.

Обыкновенно говорятъ, что литература вызывается вслѣдствіе потребностей извѣстнаго народа или общества; что она служитъ правдивымъ откликомъ, удовлетвореніемъ этимъ потребностямъ. Въ Малороссіи дѣло было наоборотъ: вызванная историческимъ движеніемъ русской литературы, безъ всякихъ потребностей со стороны общества, украинская словесность про-

будила въ немъ эти потребности и сдѣлалась его нравственною и эстетическою школой.

Всѣмъ извѣстна усиленная дѣятельность, какую встрѣчаемъ мы въ русской литературѣ конца прошедшаго и начала текущаго столѣтія. Литературная производительность испытала себя во всевозможныхъ родахъ и видахъ прозы и поэзіи; между другими были и пародіи на древнихъ и новыхъ классиковъ. Видно уже, что прежнее благоговѣйное удивленіе къ нимъ замѣнилось другимъ, немного насмѣшливымъ взглядомъ. Осиповъ первый, сколько извѣстно, выворотилъ на изнанку Энеиду, и это не замедлило отозваться на противоположномъ концѣ русскаго міра, въ Малороссіи: и тамъ явилась *перелицованная* Энеида, первое *литературное* произведеніе на малороссійскомъ языкѣ.

Всякій согласится, что перелицованная Энеида уже никоимъ образомъ не могла быть вызвана потребностями украинскаго общества, вовсе непричастнаго литературному движенію русскаго сѣвера; напротивъ, она была плодомъ современнаго направленія собственно русской словесности, а для самого автора — не болѣе, какъ литературною шуткою, забавою.

Кто не знаетъ, что въ Энеидѣ Котляревскаго удержаны только латинскія имена лицъ; все же прочее: ходъ разсказа, названіе мѣстностей, обычаи и нравы — все это совершенно малороссійское. Но при всей, повидимому, вѣрной выдержанности въ изображеніи малороссійскаго характера въ перелицованной Энеидѣ, мы не можемъ назвать это произведеніе вполнѣ малороссійскимъ, народнымъ: уже одно то, что оно, какъ мы сказали, было явленіемъ случайнымъ, вызваннымъ совершенно посторонними причинами, — значительно уменьшаетъ правс его на народность; далѣе, вглядываясь въ него пристальнѣе, мы не встрѣтимъ того милаго простодушія, того природнаго юмора, который составляетъ отличительную черту малороссійскаго народнаго характера. Взглядъ автора, имѣющій цѣлью смѣшить своихъ читателей во что бы то ни стало, выставляющій, потѣхи ради, во очію міра, все съ смѣшной стороны — совершенно про-

тивенъ коренным чертамъ украинскаго характера. Малороссіянинъ и теперь не безъ удовольствія прочтетъ Энеиду Котляревскаго и посмѣется вдоволь — да не тѣмъ смѣхомъ, которымъ смѣемся мы при чтеніи свѣжихъ произведеній Гоголя! За то, перелицованная Энеида вызвала другіе литературные опыты на украинскомъ нарѣчіи, вызвала произведенія Артемовскаго-Гулака и пробудила, если хотите, въ южно-русскомъ обществѣ того времени (каково бы оно ни было) участіе къ литературѣ. Это самое важное историческое значеніе Энеиды Котляревскаго. Какъ мало шли такія пародіи къ Малороссіи, доказательствомъ служитъ то, что написавъ разъ свою смѣхотворную поэму, авторъ оставилъ всѣ другія подобныя попытки; и послѣдующія его произведенія уже изображали семейную жизнь украинца. Это были: опера *Наталка-Полтавка* и комедія *Москаль Чарівникъ*. Нѣкоторые [1]) находятъ въ *Наталкѣ-Полтавкѣ* устарѣлую сентиментальность прошлаго вѣка; напротивъ: въ ней столько жизни, простоты и драматичности, и все совершается въ такой обыденной сферѣ, безъ всякихъ запутанныхъ завязокъ и развязокъ, такъ полно малороссійской природы и легкаго юмора, что рѣшительно не узнаешь въ творцѣ ея автора перелицованной Энеиды! Нельзя сказать того же о комедіи *Москаль-Чарівникъ*: она гораздо ниже и слабѣе, по выполненію, «Наталки-Полтавки».

Для насъ очень замѣчательно такое отступленіе старѣйшаго дѣятеля украинской литературы на другую, болѣе твердую дорогу; Котляревскій попалъ прямо въ цѣль: сдѣлалось яснымъ, что въ сферѣ пародіи едва ли возможно истинно народное развитіе украинской словесности, что для этого есть другая надежнѣйшая сторона, какъ бытъ и жизнь народа: отсюда дѣлается понятнымъ послѣдующее направленіе украинской литературы, ограничившейся такимъ воспроизведеніемъ народнаго быта, и

---

1) См. *Молодикъ* за 44 годъ, статью Іеронія Галки: «*Обзоръ сочиненій, писанныхъ на малороссійскомъ языкѣ*», стр. 165. Это, сколько мы знаемъ, единственная статья о малороссійской словесности, статья весьма замѣчательная.

въ этомъ-то направленіи, думаемъ, лежитъ зародышъ тѣхъ живыхъ произведеній Гоголя, которыя по праву могутъ быть названы малороссійскими.

За авторомъ украинской Энеиды выступаетъ на литературную сцену даровитый Артемовскій-Гулакъ. Его ставятъ въ числѣ подражателей Котляревскаго и указываютъ на единственную его пьесу: переводъ *Рыбака*, Гёте, какъ на исключеніе, не подходящее подъ общій характеръ его произведеній, которыя будто бы отличаются стремленіемъ къ пародіи. Дѣйствительно, нельзя сказать, чтобы произведенія Гулака-Артемовскаго были совершенно чужды пародіи, но она является болѣе внѣшнимъ образомъ, какъ форма: содержаніе уже измѣнилось, и стоитъ только сравнить перелицованную Энеиду Котляревскаго съ передѣлками Гораціевыхъ сатиръ г. Артемовскаго, чтобы увидѣть всю разницу между ними. По нашему мнѣнію, въ ходѣ украинской литературы произведенія г. Артемовскаго-Гулака представляютъ значительный шагъ впередъ. Правда, что заключенная въ тѣсномъ кругу переводовъ или передѣлокъ изъ древнихъ писателей, они не были богаты внутреннимъ содержаніемъ и не представляли ничего полнаго, художественнаго; но вы не встрѣтите въ нихъ ни одной черты, которая бы могла обличить ихъ не-малороссійское происхожденіе. Подъ бойкимъ перомъ его, какъ бы наперекоръ историческимъ условіямъ, латинскій нарядъ пришелся по вкусу малороссійской натурѣ: она въ немъ немного странна на первый взглядъ съ ея философскими увѣщаніями: оставить жизнь и смерть въ покоѣ, да подумать о томъ, есть ли горилка, съ ея забавными шутками; но все это искренно и чуждо цинническихъ продѣлокъ предшествовавшей пародіи и такъ согласно съ малороссійскимъ народнымъ характеромъ, что нельзя отказать въ особенномъ значеніи передѣлкамъ г. Гулака-Артемовскаго и не признать ихъ въ тѣсномъ смыслѣ народными. Такая самостоятельность произведеній г. Артемовскаго выступаетъ еще видиѣе въ его басняхъ.

Романтическое направленіе русской словесности также не

осталось безъ слѣда въ молодой украинской литературѣ: мы упоминали уже о балладѣ *Рыбакъ*, переведенной изъ Гёте: это, безспорно, лучшее произведеніе г. Артемовскаго: оно сдѣлало бы честь любому изъ малороссійскихъ писателей. Особенно замѣчательна здѣсь та свободная гибкость стиха, съ какою авторъ передаетъ трудности нѣмецкаго произведенія. Въ этомъ отношеніи онъ большой мастеръ своего дѣла и то, что на языкѣ другого явилось бы непремѣнно въ простонародной одеждѣ, у него получаетъ простую, но изящную форму. Удачная попытка ввести романтическое начало въ нововозникающую украинскую литературу вызвала баллады Л. Боровиковскаго въ томъ же направленіи, хотя и не съ менѣе успѣшнымъ исполненіемъ.

Съ легкой руки этихъ писателей явились и другіе, болѣе или менѣе даровитые. Появленіе историческаго элемента въ русской литературѣ дало мысль о возможности внесенія этого элемента въ малороссійскую словесность. Честь первенства въ этомъ отношеніи принадлежитъ Гребенкѣ, и хотя опытъ перевода *Полтавы* Пушкина на родное нарѣчіе не могъ быть вполнѣ удаченъ, тѣмъ не менѣе, рано или поздно, онъ долженъ былъ принести свои плоды.

Не отступая отъ прежняго направленія украинской литературы, Гребенка въ то же время нѣсколько измѣнилъ характеръ его и сблизился тѣснѣе съ сѣверною русскою словесностію: это видно изъ его *Присказокъ*, гдѣ очень мѣтко схвачены многія черты народнаго характера. Но, избравъ такой родъ поэзіи, какъ басня, Гребенка является болѣе человѣкомъ и писателемъ общества, чѣмъ народнымъ; отъ того мы видимъ у него часто ѣдкую иронію и сатиру, несвойственную малороссіянину.

Объемъ газетной статьи не позволяетъ намъ подробно говорить обо всѣхъ дѣятеляхъ украинской словесности, и мы ограничимся только главнѣйшими: они немногочисленны.

Почти въ одно время съ появленіемъ въ свѣтъ сборниковъ народныхъ малороссійскихъ пѣсенъ гг. Срезневскаго и Максимовича, явились и сказки (*Украинськи казкы*) Запорожца

Матырынки. При всей ограниченности своего объема, эта книжка, замѣчательная по чистотѣ и правильности языка, достаточно показываетъ, что народныя произведенія вступили въ свои права и уже считалось не предосудительнымъ сдѣлать ихъ содержаніемъ литературныхъ произведеній и дать приличную литературную обработку формѣ ихъ — задача, еще не вполнѣ разрѣшенная и въ наше время.

По рѣдкому изъ украинскихъ писателей досталась въ удѣлъ такая обширная дѣятельность и вліяніе на общество, какъ Квиткѣ, болѣе извѣстному подъ своимъ псевдонимомъ «Основьяненко», по поводу жизнеописанія котораго мы и предлагаемъ эти краткія замѣтки объ украинской словесности.

Подъ вліяніемъ перваго впечатлѣнія, произведеннаго его малороссійскими повѣстями и разсказами, многіе придали уже слишкомъ большое значеніе его произведеніямъ.

Теперь, по прошествіи болѣе нежели десяти лѣтъ со смерти автора, мы можемъ смотрѣть на дѣло хладнокровнѣе и въ своемъ сужденіи ближе подойти къ истинѣ. Основьяненко писалъ по-малороссійски и по-русски; но мы обратимъ наше вниманіе только на его произведенія перваго разряда, оставляя на собственный судъ читателя русскія повѣсти, каковы: *Панъ Халявскій*, *Похожденія Столбикова* и др.

Мы имѣли случай замѣтить, что уже Гулакъ-Артемовскій въ своихъ немногихъ превосходныхъ стихотвореніяхъ очень мѣтко и удачно схватилъ многія черты малороссійскаго народнаго быта. Основьяненко встрѣчаемъ на томъ же пути; какъ человѣку съ талантомъ и прозаику, ему было легче, чѣмъ его предшественнику, подробнѣе и ярче рисовать картину народной жизни. Къ этому присоединилось еще сильное вліяніе литературы собственно-русской, гдѣ въ ту пору впервые появились *Вечера на хуторѣ близъ Диканьки* и *Миргородъ*, Гоголя, произведенія, уже по одному своему содержанію столь близкія и родныя малороссіянину. Это былъ рѣшительный моментъ, сообщившій новыя силы украинской литературѣ и обусловившій все дальнѣйшее ея

движеніе. Во главѣ этого-то движенія мы встрѣчаемъ Основьяненко вмѣстѣ съ авторомъ *Думы* и баллады: *Утоплено*. Украинская жизнь, столь богатая чистою поэзіей въ повѣстяхъ Гоголя, приковала къ себѣ сильное патріотическое дарованіе Основьяненка: онъ весь посвятилъ себя воспроизведенію этой жизни и, надо признаться, въ этомъ его важнѣйшая заслуга въ молодой, еще не окрѣпшей украинской словесности.

Сфера чувства, такъ сказать, сердечная, дотолѣ почти невѣдомая въ малороссійской словесности, широко раскрывается во всѣхъ лучшихъ произведеніяхъ Основьяненка, и съ этой стороны его можно назвать вполнѣ народнымъ романистомъ. Мы укажемъ въ этомъ отношеніи на его *Марусю* и на другую его повѣсть *Гаммусю*, которыя, при всемъ своемъ несходствѣ въ главнѣйшихъ мотивахъ, сходятся въ глубокомъ чувствѣ, одушевляющемъ то и другое произведеніе, и въ непогрѣшительной вѣрности народному характеру.

Мы далеки отъ того, чтобы видѣть въ Основьяненкѣ создателя малороссійской литературы, явленія которой, какъ мы видѣли, восходятъ къ болѣе раннему времени и были порождены историческимъ развитіемъ русской литературы; но мы можемъ смѣло сказать, что онъ былъ создателемъ литературнаго украинскаго общества: молодое поколѣніе выросло и воспиталось на его произведеніяхъ, а старѣйшее перестало стыдиться своего роднаго языка. Но отдавая справедливость достоинствамъ и заслугамъ Основьяненка, не забудемъ и его недостатковъ: они, по большей части, состоятъ въ невыдержанности характеровъ. Дѣло въ томъ, что онъ не былъ художникомъ. Оттого при изображеніи любви простой украинской *дивчыны*, онъ такъ часто сбивается на искусственную сентиментальность, едва ли возможную въ быту простолюдина. Съ возбужденіемъ въ обществѣ участія и вниманія къ литературнымъ произведеніямъ украинскаго нарѣчія, нашлись и таланты, способные отвѣчать на такое участіе, оправдать и поддержать его новыми литературными предпріятіями.

Вообще время 1830—40 годовъ текущаго столѣтія было временемъ самой богатой и удачной дѣятельности молодыхъ украинскихъ писателей; кружокъ ихъ, имѣя во главѣ Основьяненка, дружно пытался свои силы на невоздѣланномъ еще полѣ украинской словесности и произвелъ много замѣчательныхъ явленій. Мы укажемъ только на нѣкоторыя изъ нихъ: съ одной стороны вліяніе литературы русской и сочиненія Основьяненка вызвали прекрасныя произведенія: Тополи «*Чары*», Галки — *Переяславсканичъ* (трагедія), *Сава Чалый* (драматическія сцены), и породили не мало сборниковъ, или альманаховъ, гдѣ соединялись труды даровитыхъ писателей. Таковы: *Сніпъ*, изданный г. Корсуномъ, *Ластивка* — г. Гребенки, *Украинскій Сборникъ* — г. Срезневскаго, къ общему сожалѣнію остановившійся на 1-й книжкѣ, *Южный Русскій Сборникъ* — г. Метлинскаго. Съ другой стороны, счастливые опыты въ стихахъ автора *Думъ*, поэзія котораго пришлась такъ по сердцу украинцамъ, и Амвросія Могилы указали другимъ тотъ путь, на которомъ встрѣчаемъ талантливаго Забѣлу, отчасти Чужбинскаго, Галку. Все это время было, такъ сказать, красной порою молодой украинской словесности. Оставаясь вѣрною направленію старѣйшаго своего вожатаго — русской литературы, она начинала уже свой самобытный путь, за правоту котораго заранѣе можно было ручаться, судя по глубокому сочувствію, съ какимъ встрѣчены были эти зародыши новаго направленія читающимъ украинскимъ обществомъ. Но съ прекращеніемъ дѣятельности писателей, стоявшихъ во главѣ такого литературнаго движенія русскаго юга, молодая словесность его приходитъ въ упадокъ и едва ли не возвращается къ блаженнымъ временамъ цинническихъ продѣлокъ: являются сочиненія безъ смысла и грамоты, писанныя какимъ-то чудовищнымъ языкомъ, каковы дюжинныя издѣлія гг. Карпенокъ и др., пустые стишонки, плодъ не вдохновенія, а мучительнаго усилія и труда. Были, правда, два-три стихотворенія, не походящія на подобныя фабрикаціи; но и они страдаютъ совершеннымъ отсутствіемъ искренности, теплоты,

которыя такъ неразлучны съ народнымъ южно-русскимъ характеромъ и принадлежатъ ему по преимуществу.

Такимъ образомъ, сколько позволило время и мѣсто, мы пытались показать направленіе молодой словесности русскаго юга и ея права на мѣсто въ исторіи общей русской литературы, права тѣмъ болѣе дѣйствительныя и законныя, что она была рождена, вскормлена, выпощена старшею сѣверною сестрою своею и отразила на себѣ главные моменты развитія послѣдней.

Исключить эту, правда, скромную спутницу русской словесности изъ исторіи послѣдней едва ли возможно, не погрѣшая противъ исторической полноты.

Что чувствомъ и мыслью согрѣты лучшія произведенія южнорусской словесности, въ этомъ едва ли усомнится кто-либо, знакомый съ нею лично, а не съ чужого голоса; наконецъ, что она необходимое звено русской литературы, законная часть ея, — это также, кажется, не подлежитъ сомнѣнію. Но при всемъ томъ, спросимъ: имѣетъ ли право историкъ русской литературы на невниманіе къ ней? Кончая эти легкія замѣтки, отъ души желаемъ, чтобы исторія русской литературы отвѣчала на этотъ вопросъ отрицательно.

Въ заключеніе мы позволимъ себѣ сказать два-три слова о самомъ сочиненіи г. Даниловскаго, вызвавшемъ эти замѣтки.

Въ русской литературѣ время отъ времени появляются сочиненія, имѣющія своимъ предметомъ раскрытіе жизни того или другого писателя. Подобныхъ явленій нельзя не встрѣчать съ полнымъ участіемъ: въ самомъ дѣлѣ, что̀ можетъ быть почтеннѣе стремленія объяснять литературное значеніе писателя его жизнью, и могутъ ли, наконецъ, быть для насъ вполнѣ понятны произведенія нѣкоторыхъ изъ нихъ, если въ ихъ жизни не поищемъ объясненія имъ? Этимъ, по нашему мнѣнію, опредѣляется тотъ кругъ, въ предѣлахъ котораго долженъ постоянно держаться біографъ писателя, если онъ не хочетъ изъ своего труда сдѣлать романъ или сухой послужной литературный списокъ. Мы позволимъ себѣ спросить: къ чему послужитъ подробное изло-

женіе жизни писателя, не обнаружившаго такого прочнаго, капитальнаго вліянія на литературу и общество, писателя, какъ говорятъ, второстепеннаго; онъ имѣлъ, положимъ, нѣкоторую долю вліянія на читающую публику въ свое время, и занялъ небольшой уголокъ въ исторіи словесности. Чего же болѣе? Или современность, не всегда внимательная къ заслугамъ предшествовавшихъ писателей, забыла ихъ и ей нужно напоминать это, оправдать писателя, ввесть въ права ему принадлежащія? Подъ такимъ только условіемъ, думаемъ, и возможна хорошая біографія писателя второстепеннаго. Эта же мысль, кажется, руководила г. Данилевскаго.

Дѣйствительно, Квитка, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими писателями, забытъ современною критикою, хотя въ свое время имѣлъ довольно много читателей, даже поклонниковъ. Но какъ исполнилъ свою задачу г. Данилевскій? Объяснивъ самымъ скромнымъ образомъ вліяніе посторонннхъ лицъ на литературную дѣятельность Квитки, онъ переходитъ прямо къ обзору украинской литературы до него, понимая, что писателя нельзя разсматривать безъ связи съ предшествовавшими литературными явленіями.

«Украинская литература, говоритъ онъ, начинается на-«родной пѣсней и сказкой.... Украинская сказка — это украин-«ская эпопея. Здѣсь все туземное, обыденное, едва подернутое «оттѣнкомъ фантастическимъ. Иногда залегаютъ сюда и краски «*чуждой страны жизни* (?), вымыслы иныхъ народовъ. Сказка «степная (?!) говоритъ только о тѣхъ картинахъ и событіяхъ, «которыя проходятъ предъ глазами простолюдина (?), которыя «затрогиваютъ его творческую *мыслительность*, почти не отры-«вая его отъ домашняго порога, огорода, его вишневаго сада, «степи, плуга и воловъ (?!). Пѣсня и сказка украинскія соста-«вляли степную ходячую лирику и эпосъ, задолго до появленія «книжной дѣятельности въ *степяхъ* (!). *Печатная* (??!) *не-украин-«ская литература начинается, какъ и вездѣ* (?), *лѣтописями*» (стр. 37). Было бы большимъ анахронизмомъ въ настоящее

время говорить о несправедливости подобнаго мнѣнія, какъ видно, составленнаго на скорую руку, безъ всякаго вниманія къ фактамъ народныхъ сказаній, и мы предоставляемъ самому читателю взвѣсить небольшую и уже общеизвѣстную долю истины въ словахъ г. Данилевскаго. Затѣмъ мы находимъ въ біографіи довольно подробный списокъ сочиненій, писанныхъ съ оттѣнкомъ южно-русскаго нарѣчія и размѣщенныхъ въ немъ безъ соблюденія всякой послѣдовательности: напр., за хроникой Ѳеодосія Софоновича, произведеніемъ XVII вѣка, стоитъ извѣстный *Изборникъ Святослава* — 1057 г. (?). Наконецъ, приводится подобный же списокъ произведеній, уже принадлежащихъ исключительно южно-русской литературѣ. Отъ дальнѣйшей оцѣнки ихъ г. Данилевскій видимо воздерживается, ограничиваясь двумя, тремя словами, по большей части полными чистой напраслины. О началахъ, въ духѣ которыхъ развивалась украинская литература, ея характерѣ и значеніи — ни слова; о связи съ нею произведеній Квитки — еще менѣе! Весь этотъ библіографическій обзоръ произведеній украинской словесности является какимъ-то отрывкомъ, вставленнымъ здѣсь безъ всякаго отношенія къ послѣдующему. Оставляемъ подобное странное явленіе безъ объясненія, сожалѣя о томъ, что г. Данилевскій не выполнилъ того, что̀ долженъ былъ имѣть въ виду! Впрочемъ, къ чести автора біографіи Основьяненка должно сказать, что онъ остался вѣренъ этому первому началу и во всемъ послѣдующемъ описаніи литературной жизни Квитки ограничивается тѣмъ, что подробно излагаетъ отношенія его къ журналамъ и журналистамъ, словомъ — всю, такъ сказать, экономическую или коммерческую часть литературной дѣятельности и отношеній Квитки — и нигдѣ, ни слова о немъ, какъ писателѣ, и его произведеніяхъ. Въ концѣ своего труда г. Данилевскій даже отказывается отъ этого и предоставляетъ себѣ говорить объ этомъ въ другое время! Спрашивается, что̀ за дѣло читателю до частной жизни человѣка, носившаго имя Г. Ѳ. Квитки, и какой интересъ въ этой жизни однообразной, незамапчивой, если она лишена того, что̀ могло бы

вложить въ нее *душу живу*, лишена разбора и оцѣнки его литературной дѣятельности? Ужъ если браться за подобный трудъ, то не лучше ли, вмѣсто кабинетной жизни писателя, взять, напримѣръ, жизнь какого-нибудь человѣка, богатую романическими приключеніями: здѣсь, по крайней мѣрѣ, больше пищи и простора бойкому перу г. Данилевскаго; а писать біографію Основьяненка, безъ вниманія къ его произведеніямъ — право дѣло, неблагодарное, если не безполезное. Все, что г. Данилевскій могъ собрать о жизни Квитки, все это довольно тщательно (хотя по большей части не вѣрно) сведено въ одно мѣсто, и съ этой стороны сочиненіе его болѣе или менѣе удовлетворительная компиляція; остальное же, что долженъ былъ выполнить г. Данилевскій въ своемъ трудѣ и къ чему имѣлъ достаточныя средства (какъ напр., очень важныя письма Квитки), наконецъ, главная цѣль біографіи — совершенно не достигнуты: литературное значеніе произведеній Основьяненка не пріобрѣло подъ перомъ своего защитника правъ гражданства въ литературѣ русской; напротивъ, подверглось новымъ смѣлымъ нареканіямъ, — и въ этомъ отношеніи мы даже нѣсколько согласны съ этими послѣдними, относя ихъ вполнѣ къ неудачному защищенію Основьяненка г. Данилевскимъ, чѣмъ дѣйствительно къ самому писателю, заслуживающему полнаго вниманія историка литературы. Въ заключеніе отъ души пожелаемъ г. Данилевскому бо́льшаго успѣха въ предпринимаемомъ имъ новомъ сочиненіи о философѣ Сковородѣ, чтобы будущіе читатели его не имѣли права сказать: «Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus.»

Взглядъ на старинную русскую жизнь по народнымъ лубочнымъ изображеніямъ.

1856.

Въ ряду памятниковъ старинной жизни русскаго народа одно изъ скромныхъ мѣстъ принадлежитъ лубочнымъ картинкамъ. Непривлекательныя по грубому, неразвитому искусству и ограниченныя по содержанію, онѣ не возбуждаютъ вниманія даже и теперь, когда каждая черта старины подвергается тщательному анализу. Такова, по крайней мѣрѣ, судьба ихъ въ литературѣ, гдѣ мы можемъ указать одно только имя г. Снегирева, снисходительно удѣлившаго нѣсколько часовъ времени, чтобы заявить ихъ существованіе предъ наукою. Болѣе 30 лѣтъ[1]) прошло съ тѣхъ поръ, а лубочныя изображенія все еще ждутъ достойной оцѣнки и объясненія. Причина этого, мы думаемъ, скрывается въ особенномъ характерѣ нашего стремленія къ *народности*... Народность въ жизни, народность въ наукѣ и искусствѣ, народность, какъ предметъ науки — вотъ ходячія современныя мысли наши! Мы до того озабочены и увлечены ими, что намъ некогда даже оглянуться и спросить самихъ себя: откуда такой наплывъ *народоманіи*?

А между тѣмъ вопросъ, поставленный одинъ разъ, не можетъ долго оставаться безъ посильнаго рѣшенія уже и потому, что обойдя его, мы умышленно, недобросовѣстно откажемся отъ надежнаго пути къ открытію истины.

Гдѣ же и въ чемъ начало такого народнаго движенія? Въ исторіи западной Европы мы помнимъ пору, когда все національное было предметомъ самаго жаркаго, слѣпаго поклоненія—это

---

1) Свои мысли о лубочныхъ картинкахъ г. Снегиревъ первоначально высказалъ еще въ 1822 году въ Отечеств. Запискахъ, изд. Свиньина, т. XII, № 80, стр. 85; гораздо подробнѣе та же статья явилась въ Москвитянинѣ 1841 г., № 5, стр. 131; а чрезъ 4 года, обогащенная многими неизвѣстными фактами, она вошла въ «Сборникъ историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи», изд. Д. В, 1845 г., стр. 191—221. Замѣчательно, что тогда же этотъ предметъ обратилъ на себя вниманіе извѣстнаго Якова Гримма.

эпоха всѣмъ извѣстнаго романтизма. При всей исключительности своего направленія, она можетъ быть названа одною изъ плодотворныхъ эпохъ новой исторіи и для общественной жизни и для науки. Мало того, что романтическое движеніе разбудило дремлющія силы народовъ, оно само наложило на себя руку, само заявило свою собственную несостоятельность и указало средства выйти изъ исключительности, порожденной односторонним развитіемъ силъ: такія средства давала наука. Наука существовала давно; но не ранѣе, какъ въ эпоху романтизма она получаетъ свое полноправіе, вступаетъ въ живую связь съ народною жизнью и открываетъ въ ней стороны прежде негаданныя. Это было необходимымъ слѣдствіемъ обращенія къ изученію протекшей народной жизни и ея памятниковъ: все, что носило на себѣ печать человѣческаго творчества, все останавливало строгое вниманіе ученыхъ и получало законное объясненіе.

Европейскій романтизмъ и въ своей исключительности не забылъ человѣчества и неутомимо работалъ на него. Далеко не то встрѣчаемъ мы у насъ: сѣмена европейскаго романтизма, занесенныя на нашу далекую почву, получили совсѣмъ иное развитіе и приложеніе. Въ то время, когда Европа уже отказывалась отъ своего увлеченія и въ ней возникали иные серіозные вопросы и требованія, мы горячили свое воображеніе мертвыми романтическими фантомами и, воспламенившись не по разуму, вымыслили народность въ наукѣ, позабыли, что наши западные учители, отъ которыхъ приняли мы стремленіе къ народности, сами давно уже отказались отъ тѣхъ узкихъ опредѣленій ея, какія поддерживаемъ мы. Неужели намъ суждено повторять только *азы*, давно пройденные Европою, и съ холоднымъ безстрастіемъ смотрѣть на борьбу, которою такъ тревожно занята она теперь?

Все это говоримъ мы къ тому, чтобы показать причину, почему многія проявленія нашей народности (а въ числѣ ихъ и лубочныя картинки) остаются невоздѣланными: или западная наука на нихъ не обратила вниманія, или мы не могли безъ ея руководства приняться за дѣло сами, будучи небогаты всякаго рода

элементарными познаніями; во всякомъ случаѣ, вотъ, думаемъ мы, причина, почему наши лубочныя изображенія не объяснены до сихъ поръ надлежащимъ образомъ; самая статья г. Снегирева, несмотря на всѣ свои достоинства, не могла возбудить живого интереса къ изученію ихъ, потому что ограничивается почти одною библіографическою стороною дѣла и представляетъ сухой перечень картинокъ, безъ всякаго объясненія и оцѣнки ихъ внутренняго значенія и смысла: въ ней тщательно сведены всѣ свидѣтельства объ исторіи графическаго искусства въ Россіи, не менѣе тщательно и вѣрно высказаны общія соображенія; но богатый матеріалъ нисколько не исчерпанъ; скажемъ болѣе, онъ выставленъ въ такомъ свѣтѣ, что у читателя пропадаетъ охота къ дальнѣйшему изученію. Мы разумѣемъ здѣсь не мнѣніе, въ сущности довольно мѣткое, г. Снегирева, а тотъ способъ, съ какимъ у него выставлены факты; ибо одно голое заглавіе картины не можетъ дать яснаго понятія о ней, и, во всякомъ случаѣ, представляетъ собою ненадежную почву для общихъ выводовъ и заключеній: читателю приходится, по большей части, вѣрить на слово, потому что онъ лишенъ всякой возможности повѣрить мнѣніе почтеннаго автора фактами здѣсь же, на мѣстѣ.

Драгоцѣнное собраніе лубочныхъ картинъ, принадлежащее Императорской Публичной Библіотекѣ [1]), доставило намъ возможность и средства къ ихъ изученію. Плодами его желали бы мы подѣлиться съ читателями Московскихъ Вѣдомостей. При настоящихъ средствахъ науки, мы, конечно, не можемъ взять на себя трудной обязанности окончательнаго рѣшенія вопроса о русскихъ лубочныхъ изображеніяхъ: на это потребовалось бы много времени, и еще болѣе тяжелыхъ занятій не для всѣхъ доступными источниками. Мы ограничиваемъ нашу задачу болѣе скромнымъ желаніемъ: представить главнѣйшія черты жизни русскаго чело-

1) Въ Императорской Публичной Библіотекѣ находятся два собранія лубочныхъ картинъ, принадлежавшихъ гг. Погодину и Далю. Особенно замѣчательно первое (въ него вошли картины, собранныя гг. Снегиревымъ и Шепелинымъ) рѣдкою коллекціею картинъ XVII вѣка.

вѣка по фактамъ, предлагаемымъ этими произведеніями его досужаго искусства.

Отсылая интересующихся исторіею лубочнаго искусства къ статьѣ г. Снегирева, мы позволимъ себѣ въ настоящемъ случаѣ сдѣлать нѣсколько общихъ замѣчаній о характерѣ и значеніи лубочныхъ картинъ.

Не много свѣтлыхъ точекъ можемъ мы указать въ русской литературѣ временъ протекшихъ, не много встрѣтимъ мы въ ней такихъ явленій, которыя съ живою народною рѣчью соединяли бы художественную сторону, которыя бы могли развить глубокое, но вѣрное природѣ эстетическое чувство простолюдина.

Оторванная отъ національной почвы, богатая литературная дѣятельность древней Руси безраздѣльно посвятила всѣ лучшія живыя силы свои духовному направленію. Оно зашло къ намъ изъ Византіи, и въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ своей жизни на русской почвѣ, ни на шагъ не отступило отъ своего родового типа и ни на минуту не измѣнило его первоначальному характеру. Строго аскетическое въ своемъ основаніи, сильное вѣрою и увлеченіемъ, оно являлось передъ глазами молодого неорганизованнаго общества, какъ обличитель его прежней языческой жизни и всѣхъ ея убѣжденій, какъ строгій голосъ, зовущій къ новой. Но старыя вѣрованія и убѣжденія не легко уступаютъ мѣсто новымъ: при полномъ господствѣ семейнаго начала, доходившаго всегда до деспотизма, при полномъ несуществованіи личности человѣка и отсутствіи личныхъ убѣжденій, благотворное вліяніе христіанства не скоро заставило русскаго язычника отказаться отъ обаянія старины и убѣжденій, освященныхъ вѣрою рода и племени, всосанныхъ имъ съ молокомъ матери.

Христіанская вѣра стала рѣшительнымъ протестомъ противъ этого древняго языческаго порядка вещей; она начала борьбу, вызывая изъ скромныхъ монастырей своихъ рыцарей на проповѣдь и просвѣщеніе темныхъ язычниковъ.

Тихій, ровный ходъ русской жизни былъ нарушенъ: старыя убѣжденія еще крѣпко держались силою преданія, новыя не на

столько привились, вошли въ сознаніе, чтобы вытѣснить старыя. Было здѣсь какое-то странное примиреніе вещей, въ сущности между собою непримиримыхъ [1]). Ясный знакъ, что полнота [2]) жизни уже и тогда не существовала и что апатія къ умственной дѣятельности заступила мѣсто прежняго стройнаго развитія мыслей и вѣрованій, хотя и исключительныхъ, но все же живыхъ, а иногда и глубоко человѣчныхъ.

Въ этомъ явленіи, думаемъ мы, кроется объясненіе многихъ событій древней русской жизни.

Недаромъ же въ XVII столѣтіи раздавался скорбный голосъ благочестиваго *христолюбца*, что христіане живутъ *двоевѣрно*, поклоняясь христіанскому Богу и принося жертвы идоламъ [3]); недаромъ каждый вѣкъ былой жизни русской доноситъ къ намъ цѣлый рядъ обличительныхъ словъ и поученій пастырей церкви, силившихся искоренить язычество, еще не потерявшее своего поэтическаго обаянія въ народѣ.

Русская поэзія была темною стороною жизни нашихъ предковъ. Еще отъ временъ незапамятныхъ, старинныя эпическія преданія пустили свои корни глубоко въ нравы и обычаи народа, и, какъ всякое дѣятельное начало жизни, успѣли войти во всѣ житейскіе интересы, и такъ съ ними срослись, что любая забава, сама по себѣ и невинная, отзывалась уже вредною стариною, потому только, что пробуждала грубыя силы къ живѣйшему выраженію наслажденія жизнію, выраженію, безъ сомнѣнія, столь же грубому, какъ и самыя силы.

Особенно тяжело было жить подъ гнетомъ устарѣвшихъ суевѣрій, когда съ одной стороны то запугивается воображеніе чарами, то на каждомъ шагу обманывается умъ въ своихъ лжи-

1) То же самое замѣтно и въ народной литературѣ, лучшимъ доказательствомъ чему служатъ извѣстные духовные стихи (см. № 9, 4 ч., Чтеній Общ. Ист. и Др.), гдѣ языческія преданія стоятъ наряду съ христіанскими и нисколько не стѣсняютъ другъ друга.

2) См. въ Русской Бесѣдѣ, № 2, статью г. Самарина о народномъ образованіи.

3) См. Востокова: Описаніе рукописей Румянц. Музея, стр. 229.

выхъ убѣжденіяхъ, и когда, съ другой стороны, за всякую бѣсовскую прелесть грозитъ наказаніе. Не говоря уже объ этомъ внѣшнемъ бѣдствіи, въ самомъ душевномъ расположеніи къ примѣтамъ, чарамъ, заклинаніямъ, языческимъ празднествамъ, есть что-то гнетущее, сковывающее. Подобное расположеніе можно признать за то первоначальное, смутное ощущеніе, изъ котораго уже въ эпоху миѳическую народъ стремится выйти, изъявляя свое освобожденіе цѣлымъ рядомъ эпическихъ сказаній, и чѣмъ полнѣе это освобожденіе, тѣмъ оно свѣтлѣе и радостнѣе, и тѣмъ художественнѣе эпическія произведенія народа [1]). Но русская жизнь, а съ нею и русская поэзія рано пережила эту свѣтлую эпоху: энергическія мѣры къ истребленію народныхъ суевѣрій лишили эпическую поэзію миѳической основы ея, удаляя отъ всякаго участія въ народной жизни какъ дѣло *мірское*, недостойное христіанина. Миѳъ развиваться не могъ. Сказки, переплетенныя небылицами, считались дѣломъ постыднымъ, непозволительнымъ. Но уже самая энергія нападеній свидѣтельствовала еще о всеобщемъ господствѣ суевѣрія. Эпическія созданія, хотя и лишенныя миѳа, сами собою слагались въ жизни, какъ бы по привычкѣ [2]); но они не развивались, не творились народомъ и представляли собою какъ бы новыя варіаціи на старыя, остывшія поэтическія темы. Эпоха народнаго творчества кончалась; оно останавливалось не само по себѣ и не вслѣдствіе своей внутренней несостоятельности, а вслѣдствіе историческаго перерыва. Односторонее развитіе прошлой литературы было чуждо и непонятно народу; а такія произведенія словесности русской, какъ Пѣснь о походѣ Игоря, нѣкоторыя древнія народныя пѣсни, сказанія, пословицы и преданія, считались по невѣжеству бѣсовскимъ навожденіемъ, были контрабандою въ литературѣ и всегда останутся частными случайными явленіями, не имѣвшими ника-

1) Эта характеристика древней русской жизни взята нами изъ превосходнаго сочиненія профес. О. И. Буслаева: «Русская поэзія XVII вѣка». 1852, стр. 22—23.

2) Тамъ же, стр. 33.

кой солидарности съ развитіемъ общей, книжной русской литературы. Правда, что литературная дѣятельность древней русской жизни не всегда ограничивалась одними стѣнами монастырскими; но характеръ образованности въ теченіе всего стараго періода нашей исторіи оставался по преимуществу духовнымъ, и всякій писатель, даже изъ свѣтскаго сословія, не могъ уклониться отъ общаго пути и подчинялся господствующему реторическому направленію [1]). Напрасно думаютъ, что древняя русская жизнь или тѣ стороны ея, которыя имѣли право на литературную обработку, могли дать матеріалъ для созданія народнаго романа, напрасно приписываютъ отсутствіе его одной неразвитости литературнаго дѣла [2]). Нѣтъ, при тѣхъ условіяхъ, въ какихъ находилась литература въ древней Руси, при отсутствіи начала личности, не могъ возникнуть самобытный романъ, какимъ видимъ мы его у народовъ западныхъ. Самый типъ женщины, часто свѣтлый и грандіозный въ народной поэзіи, не былъ живымъ типомъ древней нашей жизни; онъ удержался въ народной памяти скорѣе силою привычки, чѣмъ дѣйствительностію, въ которой, подъ вліяніемъ отрицательнаго взгляда на женщину, развитаго старинными грамотниками, не было мѣста любви, уваженію, признанію въ ней человѣческаго достоинства. Романъ требуетъ живыхъ типовъ, взятыхъ непосредственно изъ жизни современнаго общества, связанныхъ съ нимъ близкими интересами, — этого не могла дать народная поэзія: старинные типы ея, хотя и полные жизни, были не болѣе какъ преданіе и незапамятная старина, а *новая* женщина, какою является она и въ жизни и въ поэзіи народной, была лишена индивидуальныхъ особенностей.

На переходѣ съ XVI въ XVII столѣтіе, дремлющая литература наша обновляется новымъ, свѣжимъ дыханіемъ. Откуда же

---

1) См. Извѣстія Импер. Акад. Наукъ по 2 отд. 1855 года, т. 4, выпускъ 7, статья г. Пыпина: «Старинныя сказки о царѣ Соломонѣ», стр. 339—340.

2) См. Современникъ 1854 г., № 12, статьи г. Пыпина о романахъ въ старинной русской литературѣ, стр. 62—65.

явилось оно? Прежде всего возможность подобнаго обновленія заключалась въ томъ переворотѣ, который такъ незамѣтно приготовлялся тогда въ литературѣ: вѣкъ народнаго творчества кончился, а миѳическая основа его уступала свои права историческому началу; мало по малу, шагъ за шагомъ неотразимая сила современности брала верхъ надъ фантазіей, погруженною въ темныя языческія преданія, и въ XVII вѣкѣ мы уже видимъ преобладаніе историческаго начала, хотя и въ старинной, спокойной, ровной эпической формѣ.

Появленіе историческаго элемента указало и дало почувствовать необходимость чего-то новаго, что могло бы оторвать литературную дѣятельность отъ старой рутины и спасти благіе зачатки будущаго литературнаго развитія. Но поставленный особнякомъ, историческій элементъ не могъ развить изъ себя самого ничего прочнаго, быть можетъ потому, что самая жизнь, которую рисовалъ онъ, не могла дать достойнаго содержанія для литературнаго произведенія. Чувствовалась необходимость такого начала, которое бы повѣяло живымъ духомъ на омертвѣлое тѣло и возбудило бы его къ самодѣятельности. Это дыханіе жизни пришло къ намъ съ Запада и было слѣдствіемъ нашего благотворнаго сближенія съ нимъ.

Какъ ни мало художественнаго элемента носили въ себѣ повѣсти и сказки, перешедшія къ намъ съ Запада чрезъ Польшу, но это одинъ изъ самыхъ капитальныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ утѣшительныхъ фактовъ русской литературы. Она не имѣла ни средствъ, ни силъ отвѣчать на нѣкоторые, только что зарождавшіеся общественные вопросы, которые, какъ бы ни были еще незрѣлы, все-таки стремились найти себѣ выраженіе, и здѣсь-то лежитъ причина необходимости какого-нибудь внѣшняго вліянія, которое бы восполнило недостатокъ собственной производительности [1]).

Не говоря многаго о потребностяхъ, вызвавшихъ передѣлку

1) Статья г. Пыпина. Совреи. 1854 г., № 12, стр. 66.

иностранныхъ романовъ и повѣстей на русской почвѣ, мы укажемъ только на благодѣтельныя слѣдствія ея. Народное начало радостно пріютилось подъ сѣнью такихъ переводовъ и мало по малу начало обнаруживать признаки жизни. Въ сказаніяхъ ли о премудромъ царѣ Соломонѣ, или Александрѣ Македонскомъ, въ повѣсти ли о славномъ Бовѣ Королевичѣ — время отъ времени кое-гдѣ слышатся русскіе мотивы, сообщая всему произведенію нѣсколько иной характеръ, не похожій на тотъ, который оно имѣло въ подлинникѣ. Причина, почему эти литературныя заимствованія принялись у насъ и получили довольно обширное значеніе, заключалась въ довольно близкомъ сродствѣ ихъ съ нѣкоторыми мотивами нашей народной поэзіи, — и романъ, переведенный или передѣланный съ чужого образца, ставился иногда совершенно на ряду съ произведеніями народной фантазіи. Такъ незамѣтно терялъ переводъ черты чужой жизни и замѣнялъ ихъ другими, взятыми изъ русскаго быта. Эти знакомыя подробности заставляли читателя забывать о происхожденіи книги, и сочувствіе къ ней возрастало особенно, когда герой ея, не лишенный извѣстной доли нравственныхъ достоинствъ, овладѣвалъ чувствомъ читателя и своими славными подвигами поддерживалъ его участіе въ судьбѣ своей [1]).

Такъ было у насъ въ XVII вѣкѣ, и къ этому-то времени относится появленіе лубочныхъ картинъ. Онѣ явились, строго говоря, немного ранѣе, еще въ XV столѣтіи, но только съ XVII получаютъ онѣ нѣкоторое право гражданства въ литературѣ [2]).

---

1) См. Отеч. Записки 1855, № 2-й, статья г. Пыпина: «Очерки старинной русской литературы», стр. 109. — Его же, Соврем. 1854 г., № 12-й, стр. 75—76.

2) Древнѣйшая лубочная картина, какую мы знаемъ, находится въ Императорской Публичной Библіотекѣ и помѣщена въ витринѣ одной изъ залъ ея. Ее относятъ къ XV столѣтію. Рисунокъ грубъ и уродливъ; онъ представляетъ бабу-ягу, ѣдущую на свиньѣ, на битву съ крокодиломъ. Замѣчательно, что однимъ изъ первыхъ предметовъ для лубочныхъ картинъ русскаго народа была эта любимица народной поэзіи — баба-яга. См. также письменное свидѣтельство о началѣ лубочнаго искусства, въ ст. Снегирева, въ Сбор. Валуева, стр. 191—192.

Прежде всего возникаетъ вопросъ: насколько и какъ высказалась въ лубочныхъ изображеніяхъ русская народная жизнь? Были ли они остатками доживающаго свой вѣкъ чистаго народнаго творчества и родились между народомъ, подобно тому, какъ рождается пѣсня, сказка, или были дѣломъ уже искусной руки? Мы не обинуясь станемъ на сторонѣ второго предположенія, и хотя между строками и грубыми фигурами лубочныхъ картинъ почти невозможно разглядѣть индивидуальныя черты производителей, тѣмъ не менѣе не подлежитъ, кажется, сомнѣнію, что они стояли выше, выдѣлялись изъ остальной массы народа, для которой предназначали свои произведенія. Не говоря уже о томъ, что лубочное искусство, какъ искусство ремесленное, требовало знанія техники, чего нельзя предполагать въ цѣлой народной массѣ, мы укажемъ на многіе факты въ лубочныхъ изображеніяхъ, которые могли явиться не иначе, какъ подъ рукою искуснаго, свѣдущаго грамотника. Таковы иностранные повѣсти и романы, въ такомъ огромномъ количествѣ и въ разныхъ редакціяхъ вошедшіе въ лубочныя наши изданія. Но будучи произведеніями *искусства*, лубочныя изображенія, какъ мы замѣтили, совершенно свободны отъ индивидуальныхъ вліяній своихъ производителей. Уже самый выборъ предмета, ограниченный кругомъ заимствованныхъ повѣстей или старинныхъ отеческихъ разсказовъ, народныхъ анекдотовъ и преданій, не допускалъ никакихъ личныхъ взглядовъ производителей, и если въ лубочныхъ изображеніяхъ не видимъ мы народнаго творчества движущимся, то встрѣчаемъ на каждомъ шагу присутствіе его: оно какъ бы окаменѣло въ нихъ, остановилось, оно расплывается, но не идетъ впередъ, не творитъ новаго, хотя и окрашиваетъ своимъ цвѣтомъ ненаціональное, хотя и сообщаетъ ему русскій колоритъ.

При всемъ, повидимому, скудномъ содержаніи и ограниченномъ кругѣ своего вліянія, лубочныя изображенія представляютъ одинъ изъ интереснѣйшихъ фактовъ русской литературной жизни; самая благотворная, живая потребность вызвала ихъ появленіе:

это — жажда народнаго просвѣщенія. Люди грамотные образовывали себя чтеніемъ книгъ печатныхъ и рукописныхъ. Имъ не нужны были эти грубые рисунки съ давно извѣстными надписями, они имѣли свои библіотеки; но темный простолюдинъ не пользовался такимъ счастливымъ преимуществомъ, и лучшимъ, если не единственнымъ средствомъ удовлетворить его умственнымъ требованіямъ были лубочныя изображенія. Они замѣнили ему грамотность или, лучше сказать, были русскимъ народнымъ книгопечатаніемъ. Соединяя слова съ образомъ грубымъ, часто уродливымъ, но выразительнымъ и никогда не оскорбляющимъ чувствъ простолюдина, они тѣмъ сильнѣе привязывали его къ себѣ, затрогивали его мыслительную струну. Содержаніе лубочныхъ картинъ такъ же разнообразно, какъ и начала, дѣйствовавшія тогда въ русской литературѣ. Главное осталось за прежнимъ духовнымъ направленіемъ, и сюда относится цѣлый огромный отдѣлъ картинъ духовнаго содержанія; но и свѣтскія начала высказались во всей полнотѣ.

Разсматриваемыя съ этой точки зрѣнія, лубочныя картинки представляютъ собою дорогой и любопытнѣйшій фактъ русской литературы: онѣ могутъ быть названы необходимымъ посредствующимъ звеномъ, которымъ связываются старый и новый періоды русской литературы; онѣ захватываютъ своимъ содержаніемъ и ту и другую часть ея и краснорѣчиво говорятъ о близости того всеобщаго обновленія, творцомъ и великимъ мастеромъ котораго является немного спустя Петръ Великій [1]).

Первоначальною основою картинъ служили по большей части рукописныя повѣствованія; лубочныя изображенія только упрощали разсказъ и, дѣлая его наглядными, придавали ему нѣкотораго рода драматизмъ. Въ сущности это была другая форма литературной дѣятельности, но перенесенная на народную почву, доступная и понятная простолюдину; это была его грамота, его

1) Разумѣется, мы говоримъ здѣсь о картинкахъ, принадлежащихъ вѣку.

литература въ pendant къ книжной дѣятельности избранныхъ. Мы говорили уже, что въ лубочныя изображенія вошли многія сказки и повѣсти не туземнаго происхожденія, какъ наприм. извѣстный Бова Королевичъ [1]). Такое явленіе какъ нельзя яснѣе указываетъ ту связь и тѣ отношенія, въ какихъ находились лубочныя картинки къ литературнымъ требованіямъ современной эпохи, и какимъ искреннимъ голосомъ откликались онѣ на эти требованія. Не мало и чисто-народныхъ произведеній, встрѣчаемыхъ въ рукописныхъ сборникахъ или взятыхъ прямо изъ устъ народа, находимъ мы въ нашихъ лубочныхъ картинкахъ. Это, безспорно, самый цѣнный отдѣлъ ихъ; къ сожалѣнію, онѣ рѣдко встрѣчаются въ старинной наивной простотѣ своей: часто на одной и той же картинѣ, подлѣ національныхъ мотивовъ встрѣчаемъ изреченія древнихъ мудрецовъ и другія вставки.

Но за то въ картинкахъ XVIII вѣка являются совершенно новыя начала, предвѣстники Фонвизина и Сумарокова. Сатира, иногда ѣдкая и злая, народный смѣхъ не всегда опрятный и чистый — вотъ два главные источника воодушевленія лубочнаго искусства. Вообще взглядъ его на жизнь крайне односторонен и поверхностенъ; балагурство и смѣхъ (часто одно желаніе смѣшить) не имѣютъ удержу и не знаютъ границъ: самыя невинныя явленія, какія-нибудь скромныя свадьбы, гулянья являются предъ нами въ смѣшномъ, а иногда и въ грязномъ видѣ. Но подъ этою потѣхою, подъ этими чертами народнаго остроумія, искусный глазъ можетъ подмѣтить нѣсколько любопытныхъ историческихъ фактовъ. Стоя на рубежѣ двухъ эпохъ русской жизни,

---

1) Buovo d'Antono (Фр. Beuves de Hantone), извѣстный герой романа изъ цикла пѣсенъ о Карлѣ Великомъ, см. Russische Volksmärchen, übersetzt von Ad. Dietrich. 1831 г. Предисл. Якова Гримма, стр. IX. Для того, чтобы узнать что-нибудь объ этомъ любопытномъ отдѣлѣ русскихъ сказокъ (т. е. о переводныхъ), мы должны пользоваться нѣмецкими переводами. Намъ говорятъ о необходимости *народнаго* воззрѣнія; а о томъ, чтобъ было на что глядѣть, и не подумаютъ. Соберите сначала матеріалъ, изучите его, а воззрѣніе придетъ само собою не изъ народности, а изъ самой головы *человѣка*, обогащеннаго познаніями и согрѣтаго святою любовью къ человѣчеству.

новой и старой, лубочныя изображенія, какъ мы замѣтили, не свободны ни отъ той, ни отъ другой: въ нихъ еще такъ ясно видна старина, иногда въ борьбѣ съ новымъ началомъ, чаще какъ вѣрная спутница народной жизни, неизмѣнно идущая рука объ руку съ нею и теперь, когда уже измѣнилось столь многое и многое. На такихъ-то немногихъ чертахъ хотимъ мы остановиться и по нимъ взглянуть на жизнь русскаго человѣка.

Не всегда окажется она свѣтлою; но таково уже свойство того матеріала, который положили мы въ основаніе нашего очерка. Пусть люди, требующіе поклоненія старинѣ, винятъ не насъ, а народное искусство за его нѣсколько отрицательный взглядъ на жизнь.

Въ жизни и характерѣ народа часто бываютъ черты, яркою полосою проходящія чрезъ цѣлый рядъ вѣковъ его исторіи: какъ-то неохотно и безъ особеннаго упорства уступаютъ онѣ времени и новымъ началамъ. Нужды нѣтъ, что источникъ такого порядка вещей затерянъ въ далекой старинѣ, что народъ не помнитъ его, что держится онъ одною привычкою, да силою внѣшнею. Нужды нѣтъ! Онъ силенъ своею стариною и легко выноситъ вѣковыя бури!

Такъ родовыя и семейныя отношенія, едва ли не главнѣйшее начало общественной жизни древняго русскаго человѣка, до сихъ поръ еще не утратили своей гнетущей, тяжелой силы. Хотя природныя политическія формы русской родовой общины довольно рано получили юридическое значеніе; но начала, опредѣлявшія гражданскую жизнь этой общины, начала, подъ которыми развивалась она, остались тѣ же и попрежнему подчиняли весь ходъ ея своимъ вѣковымъ тяжелымъ опредѣленіямъ[1]). Разверните страницы знаменитаго Сильвестрова *Домостроя* или его *Вождя по жизни*, прочтите *Повѣсть о Горѣ и Злочастіи*, русское народное произведеніе XVII вѣка, и вы увидите, что патрі-

1) См. Современникъ 1847 г., № 1-й, статью г. Кавелина, стр. 15, 37.

архальныя родовыя отношенія составляютъ основу, краеугольный камень этихъ произведеній и жизни, ими изображаемой. Спокойная, едва замѣтная въ своемъ теченіи, она поддерживала ихъ и давала имъ силу непреложнаго закона. Случалось иногда, что личность, ища себѣ простора, порывала сѣти, которыми ее опутывали кровныя отношенія; но такія одинокія явленія были только нарушеніемъ закона, тяготѣвшаго надъ цѣлою жизнію. Притомъ, весь бытъ такъ былъ сложенъ по кровнымъ началамъ, что о другихъ отношеніяхъ, кромѣ родственныхъ, и понятія не было[1]).

Трудно опредѣлить, когда именно начали ослабѣвать эти суровыя отношенія; но, сколько можно судить по письменнымъ памятникамъ, до самаго Петровскаго переворота[2]) мы не встрѣтимъ ни одной уступки съ ихъ стороны и не укажемъ въ нихъ никакого смягченія. Возьмемъ, напримѣръ, послѣдній вѣкъ допетровской Руси; кровныя начала выступаютъ въ видѣ злого демона Горя Злочастія, карающаго несчастнаго бражника, не взявшаго благословенія родительскаго и отказавшагося отъ *роду* и *племени*. Не покорился молодецъ отцу съ матерью, и за то долженъ былъ поклониться и покориться нечистому Горю Злочастію. Но если старинная поэзія приписывала такое отступленіе

1) Ibidem, стр. 36, 44.

2) Одинъ изъ достойныхъ питомцевъ Петровской реформы обращается къ своему сыну съ слѣдующими словами, касающимися самаго чувствительнаго пункта родственныхъ притязаній: *Хотя въ супружествѣ и любви никто болѣе разсуждать не можетъ, какъ сочетавающійся* и для того на власть родителей и кормилицъ закономъ узда положена, чтобы силою и противу воли къ сочетанію не принуждали, однако въ такомъ великомъ дѣлѣ, на которомъ не мало благополучія нашего зависитъ, самому себѣ, напаче же человѣку не искусившемуся вѣрить не *можно*... и для того нужно употреблять совѣтъ людей искусныхъ и пр. (Духовная В. Н. Татищева, писан. 1733 г., изд. 1773 г., стр. 19—20). Сравните съ этимъ дружескимъ совѣтомъ отца сыну—суровыя, почти деспотическія институціи супружескихъ обязанностей *Домостроя* и *Вождя по жизни*, отнимающихъ право даже на собственное счастіе, подчиняя всѣ сердечныя влеченія суждевію черствыхъ стариковъ и посторонихъ *добрыхъ людей*. Далѣе Татищевъ говоритъ *о любви*, какъ началѣ, связующемъ семейную жизнь. Это что-то неслыханное дотолѣ. Стр. 298.

отъ воли родителей, отъ роду и племени, только тому, что молодецъ былъ:

«Въ то время и малъ и глупъ,
«Не въ полномъ разумѣ и несовершенъ разумомъ»,

то отсюда едва ли можно заключать, что молодецъ *дѣйствительно* былъ не *въ полномъ разумѣ* и только *сдуру*, оставивъ отца съ матерью, бѣжалъ въ чужую сторону [1]); народное чувство не могло иначе понять этого поступка, какъ подъ угломъ зрѣнія *неполнаго молодецкаго разума*; но мы смотримъ на дѣло нѣсколько иначе: въ чертахъ стариннаго русскаго бражника, оставившаго родъ и племя, замѣтна нѣкотораго рода борьба; онъ бросаетъ отчій домъ не потому, чтобъ его тянуло что-то невѣдомое, а потому, что *личность* вступала въ свои права; правда, она не могла окончательно освободиться отъ рода и племени, но все же представляетъ собою живой протестъ его тяжелымъ насиліямъ и, если Горе Злочастіе, какъ отраженіе нечистой совѣсти самаго добраго молодца, караетъ его и тяжелымъ камнемъ ложится на сердце, призывая его къ старому порядку вещей, то винить въ этомъ должно развѣ одно только время, не допускавшее развитія личности: ей не было простора и, разъ отказавшись отъ рода и племени, она не находила другого успокоительнаго пріюта, какъ избрать *спасенный* путь и окончательно разорвать свои связи съ обществомъ.

Мы сочувствуемъ такому протесту личности противъ суровыхъ насилій родовыхъ и семейныхъ началъ; она не уцѣлѣла и изнемогла въ борьбѣ; но оправданіемъ ей служила занимавшаяся заря новаго порядка вещей, новаго умственнаго движенія, дѣятельности котораго, немного спустя, открылось обширное поприще.

Въ образѣ кроткаго наставленія выходитъ семейное начало не на борьбу, а на увѣщаніе заблудшихъ, на предостереженіе

1) См. Русскій Вѣстникъ 1856 г., № 11-й, статью г. Буслаева.

ихъ отъ пагубныхъ слѣдствій своеволія. Ясный знакъ, что въ эпоху, предшествовавшую реформѣ Петра, оно было еще во всей своей силѣ, но предвидѣло опаснаго врага въ немногихъ отщепенцахъ, и если чуяло новое зарождавшееся начало свободной воли, то не придавало ему никакого особеннаго значенія.

То же можно встрѣтить и въ лубочныхъ картинкахъ, къ которымъ мы и обращаемся теперь, послѣ небольшаго отступленія.

Лубочное искусство не тронуло младенчества и юности русскаго человѣка, всегда однообразныхъ, ровныхъ въ своемъ теченіи: неразумный младенецъ не предоставленъ своимъ собственнымъ силамъ, онъ руководится родомъ, и только игры да *необузданная борзость* напоминаютъ намъ будущаго свободнаго человѣка. Патріархальность семейныхъ и родовыхъ отношеній всею силою налегла на жизнь древняго русскаго человѣка, подъ ея строгимъ началомъ развивался онъ до той поры, когда склонность къ женскому полу (или къ *беззаконію*, какъ говаривали встарь)[1]) начинаетъ одолѣвать его природу, когда въ этой всегда покорной головѣ является смѣлая мысль о женитьбѣ. Благо, если онъ здѣсь не выйдетъ изъ воли родителей и выберетъ себѣ молодую хозяйку, ту, которую *укажетъ* ему родъ его; если онъ исполнитъ то, что́ *приказываютъ*, и не поддастся своему *суетному* сердечному влеченію: вѣдь молодецъ глупъ и неразуменъ, молодъ да неопытенъ; его нужно наставить на путь жизни, нужно выбрать ему жену, и не ту, которую любитъ онъ, а побогаче, да познатнѣй — и благо, повторимъ, если молодецъ не ослушается голоса опыта, забудетъ свои сердечныя привязанности и начнетъ жить, какъ велитъ родъ и люди старые. Напротивъ, горе тому, кто захочетъ жить своимъ умомъ-разумомъ: обстоятельства ли поставили его внѣ подчиненныхъ отношеній, самъ ли онъ, вольной волею, вырвался на свободу, во всякомъ случаѣ — горе ему: всѣ мечты его и предпріятія клиномъ сходятся къ дѣйствитель-

1) См. лубочную картину: Распредѣленіе человѣческой жизни по седмицамъ.

вости, и невидимая рука караетъ его *дерзкое своеволіе*. Такой типъ встрѣчаемъ мы въ лубочныхъ изображеніяхъ на первомъ планѣ.

Предъ нами русскій молодецъ. Природа не обидѣла его разумомъ: онъ знаетъ кое-что, знаетъ и людей немного, успѣлъ присмотрѣться къ житью-бытью ихъ — и вотъ время эти наблюденія приложить къ дѣлу. Онъ задумалъ жениться. Толпой нахлынули къ нему свахи; каждая предлагаетъ свою невѣсту, не скупясь на разныя похвалы и обѣщанія. Кого выбрать? Послѣдовать сердечному влеченію, но оно не входило въ кодексъ чувствъ и мыслей старинаго русскаго человѣка, и лубочное искусство вообще не могло представить себѣ молодца подъ вліяніемъ такого враждебнаго начала. Приходится *разсудить* дѣло, и вотъ какія мысли влагаетъ оно въ уста молодца: «богатую взять — станетъ попрекать; хорошую взять — много будутъ люди знать; умную взять — не дастъ слова сказать; церковнаго чину взять — кутейникомъ станутъ звать; изъ посадскихъ взять — много надобно вина содержать; грамотницу взять — станетъ праздники разбирать; изъ дворянства взять — много убору содержать; изъ приказныхъ взять — надобно приказный порядокъ знать; изъ холопства взять — отъ компаніи отстать; худую взять — стыдно въ люди показать; изъ крестьянства взять — станутъ пересмѣхать; убогую взять — нечѣмъ содержать; старую взять — часто съ нею хлопотать; солдатку взять — много станутъ люди знать; пьяницу взять — будетъ крадучи вино покупать; иноземку взять — не умѣетъ крестьянски работать». Положеніе дѣйствительно трудное! А все отъ молодости, да неопытности! Нѣтъ, «кто хочетъ по *нраву* выбирать, тому вѣкъ женату не бывать; надобно *спроситься у добрыхъ людей*». Это заключительное слово лубочной картины есть вмѣстѣ съ тѣмъ и основная тема ея: молодецъ не для чего иного былъ поставленъ ею въ такія затруднительныя обстоятельства, какъ для того, чтобы собственнымъ плачевнымъ опытомъ убѣдить себя и другихъ въ несостоятельности всѣхъ своихъ свободныхъ предпріятій и въ непреложной непо-

грѣшимости совѣтовъ добрыхъ людей. Къ такому общему наставительному мотиву сводили старинные русскіе люди свои поученія [1]): строгое обличительное слово древней Руси измѣнило нѣсколько свой важный тонъ и, снисходя къ потребностямъ большинства, приняло литературный свѣтскій характеръ; но, какъ бы не надѣясь на ясность приводимаго примѣра, какъ бы опасаясь, что смыслъ его не будетъ понятенъ всѣмъ, оно, въ видѣ заключительнаго слова, ставитъ серіозное, ничѣмъ не прикрытое увѣщаніе. Очевидно, что вся эта сцена есть одна изъ варіацій на старую, давно заданную тему; но посмотримъ на нее нѣсколько ближе.

При всей тяжелой опекѣ надъ мыслью, какую видимъ мы въ основѣ нѣкоторыхъ подобныхъ лубочныхъ изображеній, опекѣ, которая всякое движеніе и попытку самостоятельной мысли считала преступленіемъ, нельзя съ участіемъ не остановиться на другой ихъ сторонѣ и не отдохнуть на ней отъ тяжелаго чувства, навѣяннаго смысломъ картины. Мы говоримъ о женщинѣ. Правда, нашъ герой слишкомъ невыгодно смотритъ на нее, его стоически-равнодушный взглядъ на женитьбу, не согрѣтый никакимъ благороднымъ чувствомъ и проникнутый сарказмомъ, является намъ чѣмъ-то формальнымъ, унижающимъ достоинство женщины; онъ напоминаетъ намъ тяжелую руку педанта-грамотника и недавнее время полнаго отрицанія ея человѣческаго достоинства; если бы мы остановились на каждой чертѣ монолога нашего молодца, мы получили бы очень немного свѣтлыхъ, пріятныхъ результатовъ; тѣмъ не менѣе, самая мысль: *серіозно* подумать о томъ, кого выбираешь себѣ въ подруги, какъ нельзя болѣе утѣшительна и могла возникнуть только при новыхъ началахъ, какихъ не было въ жизни древняго русскаго человѣка.

Безотрадно и непривѣтливо смотрѣлъ онъ на женщину: для него «жена не самостоятельное существо, имѣющее свой соб-

1) Вспомнимъ, какое значеніе придавалось въ древней русской жизни наставленіямъ добрыхъ и старыхъ людей. См. *Домострой*, стр. 108 и др., *Вождь по жизни*. См. Сахарова: Сказанія рус. нар., т. 2; русскія свадьбы, стр. 111, 116.

ственный разумъ и волю, но жалкое созданіе, не достигшее нравственнаго и умственнаго совершенноліътія и не имѣющее ни способности, ни силы когда-либо его достигнуть, постоянно зависимое отъ мужа, не только въ быту семейномъ и общественномъ, но и въ жизни духовной, постоянно имъ поучаемое, наставляемое во всемъ, какъ жить и дѣйствовать, какъ думать и чувствовать, даже что говорить и какъ отвѣчать на предлагаемые вопросы» [1]).

Конечно, при такомъ взглядѣ на женщину и на семейную жизнь, старинный русскій человѣкъ не долго стѣснялъ себя вопросомъ о *счастіи*, и, если порою возникалъ подобный вопросъ, то онъ былъ не болѣе, какъ вопросомъ *покоя*, спокойствія, потому что злая жена есть «проказливая на святыхъ клеветница, «сатанамъ праздникъ, поконще змѣиное, увѣтъ дьявольскій, безъ «исцѣленія болѣзнь, коза неистовая, вѣтеръ сѣверный, день не«настный, гостиница жидовская!» [2]).

Но въ картинѣ, приведенной нами, при всей видимой грубости ея смысла, видно что-то поболѣе одного желанія покоя; женщина является здѣсь какъ лицо живое, имѣющее играть не послѣднюю роль въ семейной жизни. Здѣсь лубочное искусство, по нашему мнѣнію, впадаетъ въ нѣкоторое противорѣчіе съ самимъ собою: вмѣсто того, чтобы, слѣдуя своему саркастическому, узкому взгляду на женщину, отнять у нея право на всякое значеніе, оно выдвигаетъ ее на первый планъ и дѣлаетъ предметомъ серіознаго раздумья для молодца! Здѣсь вліяніе старины и новое, еще не окрѣпшее начало, не въ борьбѣ другъ съ другомъ, а какъ-то странно соединились вмѣстѣ, вовсе не подозрѣвая, что одно изъ нихъ исключаетъ другое.

Выборъ сдѣланъ удачно или нѣтъ, покажетъ будущее; а теперь нашего молодца занимаетъ самый щекотливый вопросъ

---

1) См. статью г-на Буслаева о *Горе-Злочастіи*. Рус. Вѣсти. 1858, № 13, стр. 40 и слѣд., гдѣ эта характеристика подтверждена неопровержимыми доказательствами.

2) Рукописная Пчела XVII-го в. и ст. г. Буслаева (Русск. В., № 13-й, стр. 45).

во всѣхъ женитьбахъ, приданое. Что́ сулятъ жениху родители невѣсты? Онъ пришелъ къ нимъ въ домъ, и, по русскому обычаю, подносятъ ему прежде всего рюмку водки; а за тѣмъ подаютъ роспись самому приданому. «Слушай, женихъ, не вертись; а что написано, не сердись!» Не знаемъ, что́ сказалъ женихъ, прочтя длинный рядъ вещей приданаго; разсердился ли онъ, или, посмѣясь вдоволь надъ русскимъ остроуміемъ, оставилъ въ покоѣ невѣсту и ея удивительное приданое, мы не знаемъ этого; но, во всякомъ случаѣ, не рѣшаемся привести здѣсь эту длинную роспись, опасаясь оскорбить чье бы то ни было облагороженное чувство: здѣсь русское балагурство достигаетъ крайняго своего развитія и переходитъ прямо въ цинническое. Возьмемъ нѣсколько самыхъ умѣренныхъ примѣровъ на выдержку. Вотъ какія вещи обѣщаетъ *роспись* приданаго жениху: *изъ платья*: «кожаная сармара, да свѣтошная харя; нагольный тулупъ, а жениху горшокъ на п...; *уборъ на голову*: сундукъ съ бѣльемъ, а невѣста съ бѣльемъ; ароматъ съ духами, да табакерка съ блохами; *уборъ около постели*: пологъ брановой, и тотъ разорваной; а невѣста бѣла, пригожа и румяна, будто обезьяна; а лѣта... она не такъ старыхъ лѣтъ, только 24 зубовъ нѣтъ». Но довольно. Многое и многое запрещаетъ намъ продолжать наши выписки. Пусть любопытные справятся съ подлинникомъ картины: тамъ, по крайней мѣрѣ, виденъ товаръ лицомъ.

Для насъ, которымъ такъ часто приходится встрѣчаться въ жизни съ подобными произведеніями русскаго юмора, для насъ они имѣютъ только отрицательное значеніе. Пусть смѣется русское искусство, пусть этотъ смѣхъ будетъ грязенъ немного; но былъ бы онъ смѣхомъ искреннимъ, въ которомъ просвѣчиваетъ жизнь; а въ этомъ нельзя отказать свѣтскимъ произведеніямъ лубочнаго искусства.

Полной жизни русскаго человѣка, ни семейной, ни холостой, не рисуетъ намъ лубочное искусство: оно останавливается на тѣхъ чертахъ ея, которыя особенно поразительны для него, особенно какъ-то выдвигаются впередъ, представляя собою какую-то во-

пѣющую антиномію съ тѣмъ однообразнымъ ходомъ, какимъ означила себя старинная русская жизнь. Эти черты составляютъ какъ бы исключительную пищу лубочнаго искусства. То рѣзкій, острый смѣхъ, то глубокая грусть и обличительное слово, напоминающее собою далекую старину, поперемѣнно слышатся въ нихъ и сообщаютъ всей этой картинной галлереѣ до того неопредѣленный и пестрый характеръ, что рѣшительно трудно подвести ихъ подъ извѣстныя рубрики и разсматривать послѣдовательно: мы остановимся на тѣхъ явленіяхъ, которыя составляютъ предметъ особой любви лубочнаго искусства.

Семейная жизнь не богата въ лубочныхъ картинкахъ. Въ самомъ дѣлѣ, какою стороною своею могла она войти въ нихъ? Ея однообразіе не возбуждало ничьего любопытства. Переходъ отъ затруднительныхъ обстоятельствъ, какими сопровождалась женитьба молодца (о другихъ женитьбахъ лубочное искусство ничего не знаетъ), къ *спокойной* семейной жизни, безъ препятствій и неудовольствій, былъ бы слишкомъ скоръ и невѣроятенъ. Бѣды молодца, вышедшаго изъ повиновенія родительскаго, не оканчивались тѣмъ, что онъ выбралъ себѣ невѣсту; нѣтъ, онѣ только что начинались здѣсь и первымъ слѣдствіемъ, продолженіемъ ихъ, была разладица съ женой и ея невѣрность. Дѣйствительно, только картины подобнаго смысла и встрѣчаются въ лубочной галлереѣ: искусство не сдѣлало непослѣдовательнаго скачка и осталось вѣрно характеру своего перваго типа. Глядя на такія картины, мы видимъ въ нихъ продолженіе давно знакомыхъ мотивовъ: не спросилъ молодецъ совѣта у добрыхъ старыхъ людей, выбралъ онъ самъ себѣ подругу — и вотъ ему достойная награда, вотъ печальныя слѣдствія такого своеволія. «Мужъ за то свою жену бьетъ, зачѣмъ она, негодная, никогда дома не живетъ», а между тѣмъ, когда мужъ исполняетъ эти непріятныя операціи надъ женою, любовникъ ея глядится въ окно къ нимъ и грозитъ заплатить мужу тою же монетою. Такія картины не рѣдки; мужъ ли начнетъ волочиться за чужою женою, жена ли измѣнитъ мужу — исходъ одинъ: драка, побои и пр. Другою стороною намъ не

открывается семейная жизнь въ лубочныхъ картинкахъ, и потому-то она такъ не богата содержаніемъ. Но олицетворяя въ образѣ женской невѣрности и семейной разладицы Немезиду, карающую молодца за своеволіе, лубочное искусство не забыло и стариннаго объясненія причины такого явленія семейной жизни; его держались встарину всѣ люди книжные, «когда мужъ отъемлетъ у жены надлежащее ей, тогда сатана возжигаетъ огонь въ домостроительствѣ и ссоры»; дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ лубочныхъ картинкахъ всѣ супружескія несогласія и ссоры приписываются вмѣшательству сатаны; но если мы спросимъ о значеніи такого вмѣшательства злого демона въ дѣла жены и мужа, мы снова придемъ къ ихъ *своеволію* или другому какому-нибудь нарушенію стараго порядка вещей, которымъ издавна велась жизнь стариннаго русскаго человѣка: ибо не иному чему, какъ внушенію нечистаго духа приписывалось подобное отступленіе отъ обычая, и въ томъ и въ другомъ случаѣ молодецъ былъ только невольною жертвою сатанинскихъ внушеній. Такъ смотрѣло на это дѣло лубочное искусство, такъ смотрѣла и вся древняя Русь; они и не подозрѣвали, что это *своеволіе* героя было первымъ симптомомъ освобождающейся личности.

Посмотримъ теперь на отдѣльные эпизоды русской жизни, разбросанные въ лубочной галлереѣ.

Какъ въ народной пѣснѣ или сказкѣ невозможно бываетъ подмѣтить индивидуальныя черты личности перваго творца ихъ, такъ и лубочное искусство, несмотря на свое позднѣйшее искусственное происхожденіе, рѣдко окрашено чьими бы то ни было личными убѣжденіями. Жизнь народа, какъ и жизнь отдѣльнаго человѣка, всегда цѣлостна и вѣрна сама себѣ; она не можетъ двоиться, не можетъ раздѣлить себя на двѣ половины, изъ которыхъ одна бы любила себя, другая ненавидѣла, одна исповѣдывала любовь къ себѣ, а другая тѣми же устами издѣвалась сама надъ собою. Потому-то мы почти не встрѣчаемъ картинъ, проникнутыхъ ироніей и *сознательною сатирой*; лубочныя изображенія смѣются, но незлобиво и безъ задней мысли. Само собою

разумѣется, что мы говоримъ здѣсь о тѣхъ изъ нихъ, на которыхъ не отразилась тяжелая рука сухого дидактика и которыя по своему характеру близко подходятъ къ народу и его понятіямъ. Изъ такихъ картинъ мы знаемъ не много. На первомъ планѣ стоятъ комическія изображенія раскольниковъ, ихъ странная исповѣдь, ихъ споры и взаимныя обличенія; далѣе мы видимъ цѣлый рядъ картинъ, финаломъ которыхъ бываетъ почти всегда драка или какое-нибудь другое непріятное приключеніе. Вотъ, напримѣръ, изображеніе: *мысли вътреныя*, которое представляетъ русскаго мужика, несущаго продавать куриныя яйца. Увлеченный заманчивымъ сцѣпленіемъ мыслей о выгодѣ и будущихъ благахъ, онъ роняетъ корзину, а съ нею и всѣ сладкія надежды, навѣянныя сѣлымъ полетомъ его фантазіи; а вотъ слѣдствія карточной игры, гдѣ Савоска съ Парамошкой бросились другъ другу въ волосы, да такъ плотно сцѣпились, что посторонніе добрые люди должны были разливать ихъ водою...

Особенное распространеніе въ русскомъ лубочномъ мірѣ получили картины семика и масленицы, этихъ любимыхъ праздниствъ народа, когда его свободный характеръ и природныя наклонности, до тѣхъ поръ сдерживаемые суровыми трудами и нуждами, развертываются и высказываются во всей природной своей наготѣ. Простое изложеніе содержанія картины всего ближе можетъ познакомить насъ со взглядомъ народа на его *честный, широкій праздникъ* [1]).

Знакомы ль вы съ народнымъ русскимъ праздникомъ масленицы, какимъ онъ является на всемъ пространствѣ русскаго міра? Лубочная картина представляетъ собою только стереотипное его изображеніе. Прежде всего должно замѣтить, что народная фантазія олицетворила семикъ и масленицу въ образѣ добраго молодца и красной дѣвицы и поставила ихъ въ отношенія самыя близкія: не стѣсняя себя и не боясь людского зазору,

1) Мы говоримъ здѣсь объ одной масленицѣ. Семикъ вошелъ въ лубочныя изображенія не какъ самостоятельный праздникъ, а какъ аттрибутъ масленицы.

семикъ во очіювсѣхъ обнимаетъ масленицу и держитъ къ ней такую рѣчь: «Душа ты моя масленица, перепелиныя твои косточки, бумажное твое тѣло, сахарныя твои уста, сладкая твоя рѣчь, красная краса — русая коса, тридцати братьевъ сестра, сорока бабушекъ внучка, трехъ матерей дочка, кеточка, лсочка, перепелочка»[1]). Такими словами встрѣчаетъ семикъ масленицу; она въѣзжаетъ на русскій дворъ съ музыкой — и ей гостепріимно подносятъ блины да пряженцы. Сашныя катанья и попойки съ ихъ необходимыми послѣдствіями встрѣчаютъ ее, они же и провожаютъ; добро бы все дѣло окончилось одною кулачною потѣхою, да круговою трепкою безъ членовредительствъ, нѣтъ! Русскій человѣкъ напередъ знаетъ и прехладнокровно высчитываетъ все, что́ ожидаетъ его при проводахъ масленицы, знаетъ — и въ то же время напивается самымъ отчаяннымъ образомъ. «Мы станемъ, говоритъ онъ, довольно подпивать, *чтобъ нам себя не познать*, скакать и плясать яко коза; а другимъ *подбиты* будутъ глаза — а *хочи и съ себя что заложить*, а масленицу проводить, чтобъ по ней *не тужить*, дабы и впредь съ радостью получить». И лубочныя картины живо рисуютъ намъ всѣ слѣдствія такой логики.

Мы еще будемъ говорить о тѣхъ чертахъ русскаго народнаго характера, какія виднѣются изъ-за его хмелемъ отуманенной натуры; а теперь бросимъ взглядъ на вторую половину жизни человѣка, поскольку она высказалась въ лубочномъ искусствѣ.

35 лѣтъ (по другимъ картинамъ 50) — вотъ средина жизни человѣка, высшая ступень ея лѣстницы: отсюда нѣтъ другого шага, какъ внизъ, нѣтъ другого пути, какъ только обратный.

---

1) Замѣчательно, что эти слова взяты лубочными картинками изъ народныхъ причитаній, какія влагаютъ въ уста семику крестьянскія дѣти при встрѣчѣ масленицы. Такъ какъ эти нѣжныя слова сами по себѣ не имѣютъ смысла, то мы дополнимъ ихъ небольшою выпискою..... «лсочка, кеточка, тыжъ моя перепелочка, пріѣзжай къ намъ въ тесовый домъ душой потѣшиться, умомъ повеселиться, рѣчью насладиться». Ясно, что все это относится къ приглашенію масленицы... См. Сахарова, Ск., т. 2, Рус. годов., 71—5.

Въ это время человѣкъ является мужемъ-домостроителемъ; всѣ страсти, обуревавшія его, утомились, и онъ сдѣлался вѣрнымъ супругомъ и заботливымъ отцомъ семейства. Старость близится нечувствительно — и только изрѣдка мысль о будущемъ да теплое, хотя и тоскливое, воспоминаніе о быломъ заставляютъ его задуматься: «Три вещи этого міра устрашаютъ меня, говоритъ онъ словами лубочнаго сказанія: первая — что я долженъ умереть, другая — не знаю когда, и третья — не знаю, гдѣ буду и что станется со мною по смерти». На закатѣ дней его, прелесть жизни снова овладѣваетъ всѣмъ его существомъ; но жизнь уже не можетъ дать ему многаго — и онъ спѣшитъ насладиться въ ней тѣмъ, чѣмъ можетъ, жадно пересматривая накопленныя деньги... Жалкая жизнь, ясный знакъ пецѣлости умственныхъ силъ! Теряя память, старикъ достигаетъ крайняго душевнаго разстройства и цѣлые дни проводитъ въ безчувственномъ, животномъ состояніи спячки. Въ 80 лѣтъ прерываются всѣ нити, привязывавшія его къ жизни: хилый и слабый, этотъ преждевременный, живой мертвецъ движется на костыляхъ, служа постояннымъ предметомъ насмѣшекъ для малыхъ, неразумныхъ отроковъ; лучшее *упованіе* его — посохъ и стулъ; а желаніе — послѣднее разумное желаніе, смерти; она не медлитъ — и безропотно, спокойно уводитъ свою жертву, напоминая страшное memento mori всякому, кто ощущаетъ таинственное ея присутствіе.

Въ такомъ порядкѣ расположилъ древній русскій человѣкъ свои наблюденія надъ жизнью: они, какъ видно, не богаты и не представляютъ собою ничего такого, что бы могло выразить особенный взглядъ русскаго народа на жизнь; одно только невозмутимое, ровное спокойствіе, неразлучное съ нимъ во всѣхъ фазахъ его жизни, отсутствіе вспышекъ и бурной порывистой дѣятельности напоминаютъ собою что-то близкое, родное русскому характеру, сложившемуся подъ вліяніемъ извѣстныхъ историческихъ обстоятельствъ.

Мы съ намѣреніемъ поставили этотъ серьозный, унылый взглядъ на постепенное разложеніе человѣческой натуры вслѣдъ

за картиною веселаго вакхическаго праздника русской масляницы, чтобы показать контрастъ въ самомъ тонѣ и колоритѣ обоихъ представленій. Невозможно повѣрить даже, чтобы они принадлежали одному и тому же взгляду и были написаны подъ вліяніемъ однѣхъ и тѣхъ же мыслей. Отъ русскаго народнаго праздника перейти къ такому строгому взгляду на жизнь едва ли могъ русскій человѣкъ, предоставленный своимъ собственнымъ силамъ!

Не можемъ утверждать, дѣйствителью ли картины, изображающія человѣческую жизнь по седмицамъ и періодамъ, не русскаго происхожденія; но смѣло скажемъ, что по своему взгляду и характеру онѣ принадлежатъ тому началу, къ которому, вопреки истинѣ, хотятъ привязать русскую народность. Мы говоримъ о началѣ дидактическомъ. Его-то духомъ до конца проникнуты всѣ лубочныя картинки, изображающія періоды человѣческой жизни, и многія, многія другія....

Но остановимся еще нѣсколько минутъ на томъ, какъ глядитъ старинный русскій человѣкъ на смерть. Въ этомъ взглядѣ есть что-то оригинальное, характеристическое. Смерть и разрушеніе издавна были предметомъ глубокаго раздумья для человѣчества: лучшія произведенія художниковъ и поэтовъ обязаны имъ своимъ мрачнымъ одушевленіемъ. Народъ, какъ ни привязанъ онъ къ жизни, не можетъ избѣгнуть темнаго обаянія мысли о смерти: въ его преданіяхъ и сказкахъ постоянно является это костлявое существо, «которое съ радостью вырываетъ у жизни свои жертвы и, по большей части, въ такую минуту, когда онѣ, увлекшись дѣлами житейскими, вовсе не думаютъ о приближеніи роковой гостьи»[1]). Русское лубочное искусство нерѣдко выводитъ на своихъ картинахъ страшный образъ смерти съ косою; но рѣдко, или почти никогда не сообщаетъ ей того глубокаго смысла, съ какимъ является она въ западномъ искусствѣ. Народная мысль и фантазія не олицетворила въ образѣ смерти ничего страшнаго и не вникла въ ея таинственную натуру; русскій человѣкъ не

1) См. Русскій Вѣстникъ, № 14, стр. 310, 311.

возмущается ея приходомъ: онъ или слишкомъ преданъ пьянству, погруженъ въ жизнь матеріальную и ни на мигъ не могъ оторваться отъ ней, или смотрѣлъ на смерть спокойнымъ взоромъ отшельника; при такомъ положеніи, страшная смерть теряетъ свое мистическое значеніе и является однимъ пустымъ олицетвореніемъ конца жизни; ибо только человѣкъ, понимающій жизнь, знающій цѣну ей, человѣкъ съ свѣжимъ чувствомъ можетъ понимать все страшное значеніе этого неземного пришлеца. Чтобы яснѣе выразить нашу мысль, возьмемъ на выдержку двѣ русскія картины смерти и сравнимъ ихъ съ произведеніемъ западнаго искусства. «Скупецъ сидитъ считая червонцы — и за этимъ занятіемъ застаетъ его смерть. Онъ ни мало не испугался ея прихода, ему не страшно ни за себя, ни за свое богатство: онъ хладнокровно, и съ видимымъ желаніемъ пооораторствовать, разсуждаетъ о своей бѣдѣ, сожалѣя только о томъ, *что его душа весьма грѣшна*». «Ты же, смерть, говоритъ онъ, безобразна и страшна внезапу ко мнѣ пришла, образомъ своимъ страшишь и скоро ко мнѣ спѣшишь, скрыта бо твоя труба и коса, понеже ходишь нага и боса.... вижу бо, что ты суха и худа: а бѣжать отъ тебя не знаю куда» и пр.

Вотъ другая картина подьячаго, который по привычкѣ и хладнокровію протягиваетъ руку къ смерти за взяткою, ни мало не робѣя предъ ея образомъ и оставаясь до конца вѣрнымъ служенію своей черной жизни. Взгляните на картину Гольбейна: смерть, одѣтая въ костюмъ de la folie, схватываетъ за руку молодую королеву въ то время, когда она выходитъ изъ своего дворца для прогулки. Ужасъ овладѣлъ всѣмъ ея существомъ и отражается на искаженныхъ чертахъ лица ея; дама, ее сопровождающая, въ отчаяніи призываетъ небо на помощь; а вѣрный шутъ тщетно силится защитить свою госпожу отъ смерти и оттолкнуть это безобразное, костлявое существо [1])... Вся картина

1) Oeuvres de Jean Holbein. 1-re partie. Le triomphe de la mort, par Chr. Mechel. Basle. 1780.

исполнена мрачнаго, невыразимаго ужаса; кажется, будто слышишь эти вопли отчаянія и страха за жизнь, которая такъ дорога, и здѣсь только, встрѣтившись лицемъ къ лицу со смертью, понимаешь всю цѣну и прелесть ея! Таково живое чувство и пониманіе жизни въ произведеніи Гольбейна, но какъ неразвито это чувство въ лубочныхъ картинахъ! Явленіе смерти не страшило русскаго человѣка: онъ поддавался ей съ безжизненною апатіей. Жизнь сама убила его и сдѣлала нечувствительнымъ къ ея радостямъ. Оттого-то такъ блѣдно и развѣ только безобразно явленіе смерти.

Какъ бы ни была жалка жизнь человѣка, какъ бы ни были суровы труды и несчастія, надъ нимъ тяготѣющія, его природа не лишена способности время отъ времени стать выше повседневной прозаической дѣйствительности и живымъ ключемъ пробиться сквозь толстую ея кору. Эти яркія вспышки, напоминающія моментъ поэтическаго вдохновенія и творчества, эта порывистая, кипучая жажда дѣятельности — одинъ изъ могучихъ историческихъ двигателей; нужно только указать ей прямую дорогу, дать здоровую пищу, иначе она впадетъ въ гибельныя крайности, которыя не оправдаетъ ни чье нравственное чувство. Что же даетъ толчокъ и опредѣляетъ направленіе человѣческой дѣятельности, способной къ добру и злу? Дѣйствительность всегда съ неотразимою силою влечетъ къ себѣ человѣка и указываетъ ему дорогу, по которой онъ долженъ итти, и если индивидуальная природа его расходится съ тѣмъ положеніемъ, какое даетъ ему настоящее, онъ нерѣдко дѣлается жертвой послѣдняго. Такъ и въ древней Руси все изнемогало въ борьбѣ съ настоящимъ, сложившимся подъ вліяніемъ историческихъ событій. Обыденная жизнь древняго русскаго человѣка застыла, окаменѣла въ своихъ формахъ, его минутныя человѣческія вспышки, не видя надежной опоры въ настоящемъ, направились въ дурную сторону и развили ее до крайности. Съ этой точки зрѣнія смотримъ мы на

одинъ изъ гибельныхъ пороковъ русскаго народа — пьянство. Конечно, служеніе ему скоро обратилось въ тупую страсть и сдѣлалось порокомъ безсознательнымъ; но начальная причина, какъ намъ кажется, лежитъ въ непривѣтливомъ характерѣ дѣйствительности; ибо самые животные пороки человѣка всегда имѣютъ разумную причину и никогда не являются незваными.

Г. Буслаевъ, въ своей превосходной статьѣ о древнемъ стихотвореніи Горѣ-Злочастіи, посвятилъ нѣсколько любопытныхъ страницъ изображенію того, какъ смотрѣли пастыри церкви и старинный русскій грамотникъ на гнусный порокъ — пьянство. Съ самыхъ древнихъ временъ нашей исторической жизни, начиная съ преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго до начала XVIII столѣтія, г. Буслаевъ, въ статьѣ своей, проводитъ непрерывный рядъ увѣщаній и обличеній противъ пьянства, и благодаря этой живой, искусной характеристикѣ, нашъ взглядъ на древнюю русскую жизнь значительно расширился и прояснился. Отсылая нашихъ читателей къ статьѣ г. Буслаева, мы позволимъ себѣ, въ настоящемъ случаѣ, сдѣлать нѣкоторыя къ ней дополненія, на основаніи рукописныхъ сборниковъ и лубочныхъ картинъ.

Въ XVII вѣкѣ, когда особенно стала у насъ распложаться свѣтская литература, преимущественно повѣствовательно-нравоучительнаго содержанія, весьма часто переписывалась сатира на пьянство подъ названіемъ: *Повѣсть о высокоумномъ хмелю и худоумныхъ пьяницахъ*, или *Повѣсть о хмѣльномъ питіи, всѣмъ душеполезна* (Рус. Вѣсти., № 13, стр. 20). Г. Буслаевъ приводитъ любопытныя выписки изъ Повѣсти о хмѣльномъ питіи по рукописи Моск. Архива Министерства иностранныхъ дѣлъ. При всей занимательности и важности, какую имѣетъ эта повѣсть, она далеко уступаетъ въ своемъ достоинствѣ другой, сходной съ нею и по содержанію, и по главнѣйшимъ мотивамъ, *Повѣсти о высокоумномъ хмелю*, о которой упоминаетъ г. Буслаевъ. Мы приводимъ ее здѣсь почти всю, слѣдуя исправнѣйшему тексту

рукописи Императорской Публичной Библіотеки[1]). Повѣсть начинается издалека:

«Бѣ нѣкій человѣкъ, живяше бо въ дебрѣхъ и сотвори себѣ хижу и живяше въ ней много лѣтъ, и въ некое время не ста у него пищи и иде той мужъ искати себѣ на потребу снѣди, и ходяше по лесу много и абіе обрете стоящу яблонь велми добру и взя отъ того древа едино яблоко и вкуси и бысть сытъ велми и нача яблоки собирати съ яблони той и узрѣ на яблони траву, обвившась около древа и сорва травы той едину смоквицу и нача итти отъ тое травы глаголъ сицевъ: человѣче, знаешь ли ты меня и слыхалъ ли еси про меня? И человѣкъ той ста изумѣлся, нападе на него ужасъ великій и нача вопрошати той человѣкъ: кто есть ты, гласы испущаешь, азъ бо тя не знаю — повѣжь ми. И гласъ бысть отъ тое травы: глаголю тебѣ человѣче, азъ бо есмь хмель. И рече человѣкъ той: кто ты хмель и какую силу знаешь въ себѣ? И глаголъ бысть отъ травы тоя: глаголю тебѣ, человѣче, азъ бо есмь хмель и начну ти всю тайну свою, слыши мои глаголъ и внимай, азъ бо есмь силенъ боле всѣхъ плодовъ земныхъ, отъ корени есмь сильнаго и многоплоднаго и племяни великаго; а мати моя сотворена Богомъ, а имѣю у себя ноги тонки, а утробу не ожерчиву, а главу есми имѣю высоку, а языкъ многоглаголивъ, а умъ розной, а очи себѣ имѣю мрачніи, завидливъ; а самъ я сѣсивъ велми и богатъ; а руцѣ мои держатъ землю всю, а таковъ нравъ имею: аще которой человѣкъ станетъ меня держаться,..... князь или бояринъ,..... или чернецъ, или черница, или купецъ, или мужъ или жена, всякаго чину человѣкъ учнетъ только меня держаться, первое доспѣю его блудникомъ и къ Богу не молебника, и на молитву не встанлива, и умъ его отыму, начнетъ безъ ума ходити и вставъ онъ спохмелья немо-

1) Сборникъ статей скорописью XVII и XVIII вѣка, отдѣл. XVII, № 41, стр. 34 и слѣд. Сколько намъ извѣстно, это единственная цѣльная повѣсть о высокоумномъ хмелю: двѣ другія, извѣстныя по рукописямъ Румянцовскаго Музея, №№ 863 и 870, только сокращенія этой, а притомъ исполнены вставокъ, нравоучительныхъ изреченій и пр.

жетъ, на постелѣ своей стонетъ и глава болитъ, и очи его свѣта не видятъ, и руки его дрожатъ и на душѣ его мутится, и дѣлать ничего не хочетъ, и ничто ему доброе на умъ нейдетъ, только душа его жадаетъ какъ бы напитися. Аще у котораго человѣка дучится гостемъ званымъ быть на обѣдѣ друзьямъ и сердоболямъ, а буде меня не станетъ, тутъ бо (то) нѣсть ни радости ни веселія: той бо и обѣдъ не честенъ и не похваленъ; аще у коего обѣда пребываю — тутъ бо многи радости и веселія; той бо и обѣдъ честенъ и славенъ всѣхъ людей пребывающихъ въ дому его, аще кто напьется и спохмелья испіетъ чашу, а потомъ жадаетъ и другую, и потомъ иныя многія испиваютъ, и какъ напиваются во вся дни, а я въ ту пору отрину отъ него доброе и воздвигну на него помыслъ бѣсовскій, и потомъ введу его въ большую погибель и учиню его горда и (ленива?), и напущу на него тягость большую, и пойдетъ изъ него во пьянство всякая неподобная рѣчь, и станетъ со всякимъ браниться и задираться, покажется ему, что онъ силенъ добрѣ и богатъ и лучше всѣхъ. Азъ бо тебѣ глаголю, человѣче, аще который князь или боярин учнетъ меня держаться, то азъ доспѣю его у Бога невмилости, а у царя не вжалованьи и сотворю его хуже нищаго и убогаго; аще опився умретъ, и та душа его будетъ въ огнѣ негасимомъ, а тѣло у церкви не положатъ; а покамѣсть онъ живъ и напився станетъ сидѣть и пить до полуночи а спать до полуночи и на людей учнетъ воспалятися, тогда вси людіе его сироты и вдовицы восплачутся и разбѣжатся отъ его пьянства. Еще глаголю тебѣ, человѣче: аще которой матерой человѣкъ учнетъ меня держаться — азъ бо сотворю его ленива и руки его станутъ дрожать и дѣлать ничего не восхощетъ, и сотворю его злымъ пьяницею хуже всѣхъ людей, и учнетъ пить и пропьется весь, а жена и дѣти пойдутъ въ міръ, а домъ его весь разорю и не будетъ жилища его ничего, и *рода и племя* отъ него отступятся. Еще глаголю тебѣ, человѣче, аще учнетъ меня держаться которой гость или купецъ, всякъ торговой человѣкъ, и азъ сотворю его безумна, и животъ свой весь растерзаетъ и пропьетъ, и бу-

детъ ходить въ вѣтчаной ризѣ и во издраншехъ сапозехъ и станетъ себѣ занмывать у котораго господина и ему никто не дастъ и повѣритъ, и не дадутъ видя его пьянство, и родъ и племя отъ него отступятся. Еще глаголю тебѣ, человѣче: аще учнетъ меня держаться которой боярин, доспѣю его у государя въ ненависти, и будетъ онъ ни дворянинъ, ни селянинъ, и умъ его отиму, начнетъ безъ ума ходити и безъ призору умретъ. Еще глаголю тебѣ, человѣче: аще которая жена учнетъ меня держаться, сотворю ея злу пьяницу: имѣтъ она пити таясь мужа своего, и наведу на нее похоть тѣлесную и потомъ введу ее въ большую погибель и въ большой позоръ, и будетъ она отъ Бога отлучена и отъ людей въ посмѣхъ. Еще глаголю тебѣ, человѣче: ко всѣмъ людямъ, всякому чину мужамъ и женамъ, кто станетъ держаться (меня), азъ таковъ нравъ имѣю: добро все отъ него отставлю и наведу на него все худое, и учнетъ по дворамъ ходить и пить.... Слыхалъ ли еси ты, человѣче, о пьяницахъ? Пьяница есть примѣнена къ свиньѣ, свинья бо гдѣ не (в)идетъ, ино рыломъ потыкаетъ, тако и пьяница: аще въ которомъ дворѣ пьютъ, тутъ стоитъ и слушаетъ, пьютъ ли въ томъ дворѣ, и спрашиваетъ, въ которомъ дворѣ пьютъ, и стоитъ у воротъ и зачнетъ просить пити, а сорома нѣтъ и стыда не имѣетъ, только въ умѣ своемъ имѣетъ какъ бы напиться; а въ которомъ дворѣ пьютъ и ему не дадутъ, и отойдетъ отъ двора того и зломыслитъ на господина дому того, бранитъ не подобною лаею и никого не боится, и онъ никого не почитаетъ, самъ бранится и со всякимъ задирается, покажется ему, что онъ силенъ добрѣ и богатъ лучше всѣхъ.... (въ рукописи пропускъ). Сильный человѣкъ силы отстанетъ, а храбрый мечю преданъ бываетъ, а здравый немощенъ, а многолѣтній скоро умираетъ безъ суда Божія; аще кто пьянъ умретъ, и тѣло его у церкви не положатъ и пѣнія Божія не будетъ, а душѣ мука злая. Пьянство умъ отнимаетъ, рукодѣлія портитъ, прибыли теряетъ, пьянство князя сотворяетъ во убожество и землю его пусту творитъ, и домъ наводитъ пьянствомъ, мастерокъ умъ отнимаетъ: не можетъ смыслить дѣла своего и сотво-

ряетъ его во убожество; пьянство же отъ жены мужа отлучаетъ и жену отъ мужа, пьянство ноги отнимаетъ, въ бездонную бѣду человѣка вводитъ, пьянство зрѣніе очей отнимаетъ, пьянство къ церкви Божіей не пуститъ, честь князю не даетъ, Богу молиться не даетъ. Вѣдай себѣ, человѣче: на комъ худое платье, то пьяница, или нагъ ходитъ — то пьяницажъ, кричитъ кто или вопитъ — то пьяница, кто убился или самъ ногу или руку переломилъ — то пьяница, или голову сломилъ, кто душѣ губительство сотворитъ — то пьяница; кто въ грязи увалялся или убился, кто до смерти самъ зарѣзался — то пьяница, негоденъ Богу и человѣкомъ пьяница, только единому діаволу, и людямъ всѣмъ постыдъ пьяница, языкъ дологъ у пьяницы, что есть недоброе — то все пьяница. Какъ его въ животѣ не станетъ, и его въ огонь кинутъ, въ муку волокутъ пьяницу, черви ѣдятъ пьяницу, мразъ великъ пьяницу, разными учнутъ муками мучить пьяницу, съ сатаною въ огнѣ царствуетъ пьяница. О человѣче, яко же азъ глаголю тебѣ сія вся, заповѣдая словеса моя, вонми во уши своя, отложи прочь отъ себя смоквицу сію, яко же еси сорвалъ, да не увидиши зла надъ собою. Онъ же той мужъ, слыша отъ тоя травы гласъ глаголющъ сицевы словеса, и пристрашенъ бысть велми удивися, что отъ травы тоя исходитъ глаголъ человѣческой, и верзе онъ смоквицу на землю и пойде той человѣкъ въ хижицу свою и несе яблока на пищу себѣ и размышляя: великое чюдо показася мнѣ, слышахъ бо азъ отъ плода» и пр. и пр. Далѣе Повѣсть о высокоумномъ хмелю говоритъ о томъ, какъ этотъ человѣкъ, внявъ увѣщаніямъ хмеля, не пилъ вина и чрезъ то обрѣлъ душѣ своей спасеніе. Такова поразительная картина жизни тѣхъ, кто учнетъ держаться хмеля.

Мы привели эту повѣсть не только потому, что она представляетъ довольно цѣльное литературное произведеніе и значительно дополняетъ характеристику, сдѣланную г. Буслаевымъ; она имѣетъ для насъ другое значеніе, чисто литературное. Изъ лубочныхъ картинъ, сколько знаемъ, ни одна не имѣла такого обширнаго значенія и распространенія, какъ изображеніе пьянства

и его послѣдствій. Повѣсть о высокоумномъ хмелю, нами приведенная, послужила основною темою всѣхъ такихъ картинъ: каждая изъ нихъ представляетъ собою или сокращеніе этой повѣсти [1]), или обработку отдѣльнаго мотива ея: она полное, стройное произведеніе; лубочныя картинки — разрозненные, отдѣльные члены ея, онѣ выросли и создались на ея почвѣ и по ея плану.

Такіе апоѳеозы хмеля, конечно, не были созданіями чисто-народными и обязаны своимъ происхожденіемъ людямъ образованнымъ (въ тогдашнемъ смыслѣ, разумѣется), грамотникамъ; но кто же откажетъ имъ во многихъ національныхъ мотивахъ и истинности изображенія?

Когда вы взглянете на это богатое собраніе картинъ и вглядитесь въ ихъ содержаніе, предъ вами откроются многія любопытныя черты древней русской жизни, черты грустныя и жалкія, но живыя и не требующія длинныхъ объясненій. Вы видите передъ собою бѣдный сколокъ человѣка, у котораго, по слову Анахарсиса (?), «отъ злаго запойства зубы заржавлены, лицо обрюзгло, очи помраченныя, забвеніе разума, руцы и ноги трясутся, сны страшливые, почи мятежныя.»

Въ этой мрачной вереницѣ картинъ, куда ни взглянете вы, куда ни обратитесь, всѣдѣ встрѣтите безобразное запойство съ его гнусными атрибутами: вотъ двое добрыхъ людей, скорбя душою, совѣщаются, какъ бы отвести зло отъ пьяницы и возвратить его къ жизни и труду; а хмельной бражникъ спитъ тревожнымъ сномъ, возлѣ него стоятъ штофы съ водкою, рюмка и

---

1) Всего чаще встрѣчаются въ лубочной галереѣ цѣльныя картины о высокоумномъ хмелю; содержаніе ихъ, правда, немного сокращено, но въ этомъ виноваты сами рукописи, гдѣ эта повѣсть по большей части является въ сокращенномъ видѣ и съ многими интерполяціями; а что лубочныя картинки на свои листы переносили эту повѣсть изъ рукописей, доказательствомъ служатъ тѣ нравственныя изреченія Анахарсиса, Кирилла Философа (?), и пр., которыми оканчиваются рукописныя повѣсти о высокоумномъ хмелю и которыя отсюда перешли въ лубочныя изображенія. Мы уже прежде говорили (см. ст. 1-ю), что такое заимствованіе было явленіемъ вполнѣ необходимымъ и законнымъ.

кусокъ хлѣба, вскочилъ онъ да въ вино усъ обмочилъ — и безобразная вакханалія возобновляется: пьетъ онъ чашу первую съ похмелья, вторую во здравіе, третью въ веселіе, четвертую въ сытость, пятую въ пьянство.... и такъ напивается онъ по вся дни. Вотъ еще болѣе поразительная картина пьяной женщины: ея слабая женственная натура дошла до послѣдней крайности искаженія, въ дикихъ чертахъ ея уже не замѣтно ничего человѣческаго и сторонніе люди бьютъ ее палками да каменьями.

Иногда лубочныя картинки разсказываютъ цѣлыя исторіи, дополняя словами то, чего не могла выполнить неискусная рука лубочнаго мастера. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ:

«Жилъ былъ честный мастеровой, но захотѣлъ онъ съ бѣсомъ поводиться, всегда въ пьянствѣ и прохладѣ находиться. Сразу понялъ нечистый діаволъ, какого вѣрнаго слуту пріобрѣтаетъ онъ въ мастеровомъ, ставитъ онъ сѣти ему и побуждаетъ его не отставать. Пьетъ бражникъ, не замѣчая бѣсовскихъ козней, и, отяжелѣвъ блюетъ, и спитъ, валяясь въ грязи; только лишь встать ему и образумиться, какъ поднесетъ ему бѣсъ опохмелья— и снова пьетъ мастеровой, не чуя, что часъ его близокъ: подхватилъ его бѣсъ и помчалъ, а мастеровой даже и не закричалъ, посадилъ его въ такой домъ, что выходитъ оттуда смрадъ, тамъ ему быть — и вѣчно въ аду съ сатаною жить».

«Нѣкоторый человѣкъ пьяница пропился на кружку до нага, не знаетъ онъ, что бы пропить ему; а пить хочется! Былъ бы купецъ — онъ продалъ бы душу свою; и прінде къ нему діаволъ во образѣ человѣческомъ и рече ему: что человѣче думаеши? Что я не знаю, что съ себя пропить: аще былъ бы купецъ — продалъ бы душу свою; и рече діаволъ: да что тебѣ дати денегъ — что хощеши? И давъ діаволъ денегъ пьяницѣ и сѣлъ онъ и нача пити, и не помышлявше о душѣ своей, и приближися вечеръ, и тогда рече діаволъ съ прочими людьми: аще кто купитъ коня — подобаетъ взяти и узда; а вы сторонніе люди свидѣтели, купилъ у сего человѣка душу, подобаетъ взяти и тѣло. И на всѣхъ человѣкъ внезапу нападе страхъ велій; діаволъ же,

взявъ пьяницу, потащи его сквозь полъ во адъ на вѣки вѣчныя муки.»

Но лубочное искусство и здѣсь остается вѣрно своему шутливому характеру: посреди множества мрачныхъ картинъ, испещренныхъ увѣщаніями Кирилла Философа (?), Анахарсиса и проч., полными укоризны и строгаго обличенія, вы встрѣчаете шутку, снисходящую къ людскимъ слабостямъ. Мы выписываемъ здѣсь надпись къ одной изъ подобныхъ картинъ, называемой: *Аптека цѣлительная съ похмелья.*

«Она содержитъ въ себѣ такія зелья, которыми лечатъ съ похмелья, токмо въ ней водка, вино, медъ, пиво; да надлежитъ оныя разумно употреблять, чтобъ и послѣдняго ума не потерять; а именно, по три раза въ сутки, безо всякой смутки: первое поутру, какъ станетъ свѣтъ призывать другая къ себѣ въ привѣтъ (?), второе предъ обѣдомъ, съ своимъ ближнимъ сосѣдомъ, третье съ молодцами послѣ полудня — и тоже въ праздникъ и въ будни; а коли гулящіе дни случатся, пускай въ аптекѣ проспятся, чѣмъ въ другое мѣсто ходить опохмелиться или на улицѣ валяться.»

Здѣсь еще яснѣе выступаетъ то различіе, какое замѣтили мы въ характерѣ лубочныхъ изображеній: одни изъ нихъ непосредственные представители русскаго народнаго духа, возникаютъ среди народа и ничѣмъ не измѣняютъ ему; другія — произведенія грамотниковъ. Русскій народъ говоритъ: «пей да дѣло разумѣй» или «пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ» и вообще смотритъ на этотъ порокъ снисходительно [1]); грамотники клеймили пьянство изреченіями древнихъ учителей, ибо для нихъ русскій порокъ былъ однимъ изъ симптомовъ нечистаго навожденія!

---

1) Рус. Вѣсти., № 18, стр. 19, ст. г. Буслаева. Въ лубочныхъ картинкахъ часто встрѣчается исторія о пьющемъ и непьющемъ, т. е. разговоръ нравственнаго содержанія, гдѣ непьющій такъ излагаетъ свою теорію: «предъ обѣдомъ хорошую рюмочку хватилъ, взялъ зрѣлой икры, закусилъ и послѣ вина покушавши въ препорціи напьюсь, да на постелю отдохнуть повалюсь; а вставши похожу, да на добрыхъ людей погляжу.»

Теперь, если мы остановимся на тѣхъ мрачныхъ картинахъ безобразнаго порока, которыя привели мы выше, и спросимъ снова о ихъ народной сторонѣ, о томъ, на сколько въ этихъ темныхъ, печальныхъ сценахъ высказался русскій характеръ, мы должны будемъ войти въ небольшое сравненіе и для этого воспользуемся тѣмъ же историческимъ типомъ молодого Гельмбрехта, который приведенъ г. Буслаевымъ въ его статьѣ.

Гельмбрехтъ вездѣ и во всемъ дѣйствуетъ сознательно: онъ оставляетъ отчій домъ и идетъ затѣмъ, чтобы пожить на просторѣ, покутить, поразбойничать, его сознаніе ни на минуту не оставляетъ его посреди самыхъ черныхъ, злодѣйскихъ поступковъ. Дома не сидится ему, потому что эта скромная жизнь не удовлетворяетъ его; не удивительно, что онъ бросился въ грабежъ и разбой и въ нихъ нашелъ себѣ нѣкотораго рода удовлетвореніе. Но чѣмъ болѣе среди разврата и этихъ сознательныхъ преступленій видѣется актъ свободной воли человѣка, чѣмъ болѣе всѣ его преступленія падаютъ на одну его личность, на его собственную отвѣтственность, тѣмъ болѣе эта отвѣтственность, тѣмъ сильнѣе противъ него протестуетъ наше нравственное чувство; но не таковъ русскій бражникъ: въ его зломъ запойствѣ мы не встрѣчаемъ, правда, ничего такого, что бы могло возбудить наше участіе къ нему; но этотъ тупой, безобразный порокъ, которому онъ такъ безропотно предается, при всѣхъ грязныхъ, отвратительныхъ своихъ послѣдствіяхъ, имѣетъ въ чертахъ своихъ что-то невольное, что привязываетъ къ себѣ бражника и не даетъ ему возможности освободиться отъ него, *опознаться* и оставить свое злое запойство; онъ—жертва своего порока, безъ борьбы уступающая ему побѣду. Конечно, ничтоженъ тотъ человѣкъ, который не можетъ управлять своими пагубными привычками и сдерживать свои дурныя, грязныя наклонности, онъ не имѣетъ права на наше уваженіе, еще менѣе на нашу симпатію: его безхарактерная кротость слишкомъ уступчива въ борьбѣ съ дѣйствительностію, слишкомъ наклонна къ ничтожеству, которое такъ легко умѣютъ находить русскіе бражники въ пьянствѣ

до полусмерти[1]); но если они не возбуждаютъ къ себѣ уваженія, то, по крайней мѣрѣ, нельзя отказать имъ въ нашемъ состраданіи, въ жалости.

Актъ свободнаго, самостоятельнаго предпріятія, хотя бы оно было направлено и въ дурную сторону, показываетъ уже полное самообладаніе и присутствіе *жизни*. Таковъ Гельмбрехтъ. Онъ постоянно и вездѣ выдерживаетъ свой характеръ, онъ не робѣетъ предъ жестокостями и разбоемъ, но и не грязнетъ въ нихъ безвозвратно; онъ кутитъ и буянитъ, а не напивается до полусмерти, не забывается въ пьянствѣ. Ничего подобнаго не видимъ мы въ русскихъ бражникахъ. Прежде всего они не окрашены никакими личными красками, и сколько бы ни встрѣтилось ихъ, всѣ они до единаго походятъ другъ на друга и притомъ до малѣйшихъ подробностей: кажется, всѣ они вышли изъ одной школы и строго придерживаются правилъ и преданій какого-то общаго своего учителя: до такой степени въ нихъ нѣтъ ничего личнаго, самостоятельнаго. Въ ихъ характерѣ видится что-то вялое, тупое: это страсть, низошедшая на степень животнаго инстинкта, привычки. Здѣсь уже нѣтъ и не предвидится возможности кореннаго исправленія, нѣтъ другаго исхода, какъ медленное самоубійство и безобразная смерть или окончательный разрывъ всѣхъ связей съ обществомъ. Это «*мракъ безъ надежды, грусть безъ отрады, печаль безъ утѣхи*[2])». Совершенное отсутствіе жизни, замѣчаемое въ чертахъ русскаго запойства, лишаетъ человѣка послѣдней отрады въ этомъ безобразномъ порокѣ — сознанія; оно не входило, правда, въ кодексъ понятій и чувствъ стариннаго русскаго человѣка, но все же время отъ времени пробивалось и нарушало издавна заведенный ровный ходъ его жизни. Такого сознанія былъ лишенъ русскій бражникъ: онъ пилъ, самъ не вѣдая почему, и былъ по большей части недоступенъ никакому увѣщанію. Привычка къ пьянству, незваная и

1) См. статью г. Буслаева, Русск. Вѣсти., № 14, стр. 299.
2) См. статью г. Снегирева, въ Валуевскомъ Сборникѣ, стр. 208.

непрошеная, какъ-то укоренилась въ немъ безсознательно, онъ только былъ безропотною, печальною жертвою судьбы, олицетворяемой въ видѣ буйнаго и высокоумнаго хмеля. Его пьянство было пьянство *кроткое*[1]), но уже по своей кротости мелкое, почти безстрастное, не способное выродиться ни во что доброе, не буйный кутежъ, а гнусная привычка, и если позволено искать генеалогію этой привычки, то мы не дадимъ ей въ родоначальники пиры князя Владимира и его богатырей, хотя она выродилась и отступила отъ этого грандіознаго типа. Мы не поставимъ также наряду съ нею того чувства, въ какомъ русскій (нынѣшній) въ минуту грустнаго самозабвенія поетъ разгульную пѣсню «сѣмену кувшину, что размыкалъ, разогналъ злу тоску-кручину». Такого рода жизненный разгулъ не по плечу старинному русскому бражнику лубочныхъ картинъ. Его *кроткое пьянство* обмельчало. Можетъ быть, нѣкоторые упрекнутъ лубочное искусство во лжи, а насъ въ намѣренномъ преувеличеніи: мы оправдаемся голосомъ одного изъ благонамѣренныхъ просвѣщенныхъ людей Петровскаго времени:

. . . . «Еще не обѣдалъ
Тогда народъ и солнце полкруга небесна
Не пробѣгло; а почти ужь улица тѣсна
Была отъ лежащихъ тѣлъ. Узрѣвъ то разъ первой,
Чаялъ, что моръ былъ у васъ; да не пахло стервой.
И видѣлъ, что прочіе тѣхъ не отбѣгали
Тѣлъ люди и многіе изъ нихъ подымали
Руки ины головы тяжки и румяны.
Не давала слабость ногъ встать; словомъ всѣ пьяны.
Пьяны тѣ, кои лежатъ, прочи не трезвѣе,
Не обильнѣе умомъ,—ногами сильнѣе[2])», и пр. и пр.

---

1) См. Русск. Вѣст., статью г. Буслаева, № 18, стр. 20.

2) См. 5 сатиру Кантемира, изданіе Толстаго. Спб. 1836, стр. 74, и особенно 77, стих. 2, 3, 4.

Таковъ былъ старинный русскій бражникъ, жертва дурного отсѣда старинной нашей жизни. Поднять его, дать средства оправиться и посмотрѣть на себя, былъ призванъ Петръ Великій: онъ прервалъ эту неестественную жизнь, печальную, не обѣщавшую добраго исхода, и ему-то народъ русскій обязанъ возможностію нравственнаго воспитанія въ будущемъ.

Мы взяли только немногія, существенныя черты лубочныхъ картинокъ. Можетъ быть, эти черты слишкомъ безотрадны; но это не наша вина, а вина самого лубочнаго искусства. По самому объему газетной статьи, мы не могли остановиться на всѣхъ любопытныхъ частностяхъ (а ихъ не мало) лубочныхъ картинъ; но онѣ не опровергаютъ, а подтверждаютъ наши заключенія. Безпристрастный глазъ, не отуманенный ложнымъ патріотизмомъ, и свѣжее чувство не найдутъ ничего страннаго въ этихъ очеркахъ старинной народной жизни. Сыны новаго времени, мы не должны вступать въ сдѣлку съ старниною отжившею, разрушившеюся; для насъ она имѣетъ значеніе только по отношенію къ настоящему и то, благодаря Петровской реформѣ, одною своею отрицательною стороною. Увлеченіе и пристрастіе нигдѣ такъ не пагубно и не приноситъ такого страшнаго вреда, какъ въ исторіи: оно дерзко смѣется надъ людскою логикою, здравымъ смысломъ и дѣлаетъ изслѣдователя послушнымъ рабомъ его неправыхъ внушеній. Не удивляться безсмысленно и благоговѣть, не безразсудно поносить и отыскивать преднамѣренно *скверну*, а цѣнить и обсуживать, положа руку на сердце, должны мы, и въ этомъ, надѣемся, намъ не откажутъ наши читатели. Мы одушевлялись не слѣпою любовью *къ старинѣ во всѣхъ ея проявленіяхъ*[1]), а любовью къ истинѣ.

---

1) См. въ Русск. Бесѣдѣ, кн. 2, статью г. Безсонова.

Нѣсколько данныхъ изъ лубочныхъ картинъ.

1856.

Дополненіе къ статьѣ: «Взглядъ на старинную русскую жизнь по народнымъ лубочнымъ изображеніямъ».

Имѣя въ виду результаты, какіе можно извлечь изъ лубочныхъ изображеній относительно проявленій старинной русской жизни, мы мало обращали вниманія на частныя черты ихъ и довольствовались одними яркими фактами, вездѣ придерживаясь этой строго-исторической почвы. Ни предѣлы газетной статьи, ни средства наши не позволяли намъ взяться за подробное изслѣдованіе о лубочныхъ произведеніяхъ русскаго народа. Возвращаясь снова къ тому же предмету, мы ограничимся нѣкоторыми дополнительными фактами, воздерживаясь, по возможности, отъ всякихъ заключеній и выводовъ. Прежде всего считаемъ необходимымъ повторить то, что мы сказали о характерѣ лубочныхъ картинъ въ предшествовавшихъ статьяхъ. Онъ съ перваго взгляда поражаетъ насъ своею двойственностію: народная жизнь съ ея отправленіями не была исключительнымъ предметомъ содержанія лубочнаго искусства; скажемъ болѣе, она входила только, какъ небольшая часть, и занимала очень скромное мѣсто въ лубочной галлереѣ, наполненной картинами духовнаго содержанія, по правиламъ котораго развивалась вся русская литература до XVIII вѣка. Правда, и въ изображеніяхъ духовныхъ кое-гдѣ замѣтны проблески русской жизни; но они отражаются такъ слабо и блѣдно, что нѣтъ никакой возможности по нимъ заключать о первичномъ типѣ. Иначе и быть не могло: возвышенность религіознаго взгляда на жизнь, какой встрѣчаемъ мы почти въ каждомъ произведеніи древней русской словесности, не позволяла низойти до обыденныхъ мелочей и постоянно держала мысль въ сферѣ высшей, внѣ земныхъ треволненій и всякихъ случайностей. Такимъ образомъ, русскія лубочныя картины, по своему содержанію, распадаются на двѣ половины: одна изъ нихъ изображаетъ народную жизнь, какъ она есть, не прикры-

тою, не принаряженною въ праздничный костюмъ; другая изображаетъ намъ одну только сторону русской жизни, указывая идеалъ, примѣръ для подражанія. Картины первой половины принадлежатъ чисто русскому народному воодушевленію и выхвачены прямо изъ жизни; картины втораго отдѣла принадлежатъ къ воодушевленію извѣстной массы людей въ русскомъ обществѣ, грамотниковъ, дидактиковъ. Бросимъ бѣглый взглядъ на факты лубочныхъ картинъ того и другого отдѣла.

Русская жизнь въ лубочныхъ картинкахъ народнаго содержанія выражается какъ-то отрывочно, афористически, болѣе случаями и происшествіями, чѣмъ цѣльнымъ взглядомъ на міръ. Мы говорили уже о картинахъ: *Разсужденіе холостаго человѣка о женитьбѣ* и *Роспись приданому, тебѣ молодцу удалому*, и привели изъ надписей къ нимъ столько выписокъ, сколько позволили намъ литературныя приличія; въ отношеніи же самыхъ картинъ мы замѣтимъ нѣкоторыя отличія въ редакціяхъ: такъ картина *Разсужденіе холостаго человѣка о женитьбѣ* иногда представляетъ на сценѣ его одного или съ свахами, которыя держатъ въ рукахъ портреты невѣстъ; иногда же каждой изъ его мыслей вслухъ соотвѣтствуетъ приличная картина; такъ, напримѣръ подъ стихомъ: *грамотницу взять — станетъ праздники разбирать*, представлена женщина со святцами въ рукахъ; при словахъ: *пьяницу взять — будетъ крадучи вино покупать* — находимъ картину пьяной женщины, возлѣ которой, на столѣ, стоятъ бутылки съ водкою и т. п. Конечно, неразвитое лубочное искусство не всегда удачно выражаетъ въ рисункѣ то, что заключается въ изреченіи; но, по большей части, эти изображенія очень мѣтки и прямо переносятъ васъ на точку зрѣнія простолюдина. Въ картинѣ *Разсужденіе холостаго человѣка о женитьбѣ*, мы находимъ только его собственныя мысли; въ уста свахъ лубочное искусство не влагаетъ ни одного слова: онѣ безмолвно стоятъ по сторонамъ и прислушиваются къ рѣшеніямъ молодца. Такой пропускъ лубочное искусство взялось исправить въ другой своей картинѣ: *Реестръ о дамахъ и прекрасныхъ дѣвицахъ:* свахи

показываютъ жениху портреты невѣстъ, награждая послѣднихъ не очень лестными эпитетами, напр. *Аксинья — винца испить охотница*; *пирожная мастерица — Ѳеодора*; *криножная* (?) *блудница — Нимфодора*, и пр. Само собою разумѣется, что эти коротенькія изреченія не могутъ дать никакого понятія о томъ, что заключается въ остальныхъ (а ихъ не мало), и только люди, близко знакомые съ обыденными эпитетами русскаго народа, могутъ нѣкоторымъ образомъ догадываться, что такое поразсказали свахи доброму молодцу о невѣстахъ. Картина *Роспись приданаго* имѣетъ также свои редакціи, хотя и безъ всякаго измѣненія въ рисункѣ: прибавленія касаются надписей, но нѣтъ никакой возможности познакомить съ ними читающую публику.... Къ картинамъ, имѣющимъ предметомъ женитьбу, относится изображеніе или лучше разговоръ въ лицахъ *старухи свахи и дурака старика*: сваха пришла ему высватать невѣсту, а онъ держитъ къ ней цѣлую рѣчь прибаутками и кончаетъ ее слѣдующими словами: «*я имѣю приворотной корень и видя твою дурацкую рожу, приведу къ тебѣ съ рогами козу*». Есть цѣлый рядъ картинъ, изображающихъ отдѣльныя происшествія или случаи. Мы приведемъ важнѣйшія изъ нихъ: они говорятъ сами за себя и лучше всего показываютъ народный взглядъ на жизнь:

1. *Борьба медвѣдя съ бабою*. Пошла баба въ лѣсъ грибковъ сбирать; а на встрѣчу ей медвѣдь идетъ: позволь, баба, съ собою мишкѣ побороться. — Ей, боюсь, мишка, шубка разорвется. Позволила баба медвѣдю съ собою побороться, розорвалъ онъ ей шубку и бросился бѣжать отъ криковъ и брани. Картина представляетъ бабу, лежащую на землѣ въ живописномъ положеніи; а медвѣдь удираетъ отъ нея что есть мочи.

2. *Молодецъ и женщина, пекущая блины*. Въ лубочной галлереѣ не мало картинъ подобнаго содержанія, но мы должны ограничиться однимъ общимъ заглавіемъ ихъ, не рѣшаясь входить въ изложеніе частностей, почти всегда грубо-циническаго, грязнаго содержанія. Таковы еще картины:

3. *Разговоръ молодца съ своею любовницею*, гдѣ, не говоря

уже о надписи, одинъ рисунокъ показываетъ нарушеніе самыхъ основныхъ законовъ стыдливости.

4. *Расправа мужа съ женою*, которую онъ бьетъ, зачѣмъ она, негодная, дома не живетъ....

5. *Мужикъ, крадущій петуха.* Женщина бьетъ его рогачемъ и кричитъ: «Отдай, б.... сынъ, моего пѣтуха, вѣдь не сыта будетъ твоя требуха. — Молчи, баба, полно (?), я зашелъ не съ той улицы, не забылъ бы взять всей твоей курицы; а я тебя не слушаю и одинъ его, сжаря, скушаю.

6. *Какъ баба лѣчитъ животъ мужику горшками.* Пришла баба полѣчить Еремку и накинула на него горшки, стала у Еремки выходить грыжа, и какъ крикнетъ онъ на бабу: ахъ.... вытащила у меня весь животъ; бросила горшки свои бѣдная баба и пустилась бѣжать отъ испуга....

7. *Какъ Прохоръ да Борисъ, поссорились, подрались*, за полы взялись руками, ребра и бока щупали кулаками.

Мы считаемъ излишнимъ исчислять всѣ подобныя картины; каталогъ ихъ читатель найдетъ у г. Снегирева на 207—8 стран. его статьи (Валуев. Сбор.). Приведенныя нами изображенія достаточно показываютъ особенность русскаго взгляда на обыденныя явленія: рѣзко противоположный унылому, строгому настроенію старинныхъ грамотниковъ, онъ выбиралъ для своего воодушевленія (если это можно назвать воодушевленіемъ) предметы самые грубые, но по самой своей сущности предлагавшіе широкій просторъ его балагурству, не стѣснявшіе его рѣзкій смѣхъ никакими посторонними условіями.

Во 2-й статьѣ нашей мы говорили о картинахъ, изображающихъ русскую масляницу. Эти картины очень многочисленны, хотя рисунокъ почти всегда одинаковъ. Вверху помѣщена встрѣча масленицы съ семикомъ, а подъ ними нѣсколько маленькихъ изображеній того, какимъ образомъ русскій народъ проводитъ масляницу. Чаще другихъ встрѣчаются картины попоекъ и ихъ слѣдствій: пьяные блюютъ, приговаривая, что имъ нечего тужить за масляницею, дабы впредь съ радостью ее получить; или же,

разгоряченные виномъ, они схватываютъ другъ друга за волосы и въ такомъ положеніи, образуя собою цѣлый хороводъ, начинаютъ пляску. Извѣстная повѣсть о *высокоумномъ хмелю* встрѣчается въ лубочной галлереѣ въ безчисленномъ множествѣ экземпляровъ и почти безъ разницы редакцій. Приведемъ описаніе этой картины. Въ заглавіи стоитъ стихъ: азъ есмь хмель силенъ, высокая голова, болѣе всѣхъ плодовъ земныхъ, а подъ стихомъ картина, представляющая хмель, вьющійся по дереву; плоды его срываютъ мущина съ женщиной. Вся картина раздѣляется на двѣ половины, и въ каждой изъ нихъ помѣщено по нѣскольку небольшихъ картинъ съ надписями. Въ заглавіи лѣвой стороны стоитъ: бесѣдуетъ Анахарсисъ Философъ, сице глаголетъ вопросъ: кое возмездіе человѣку въ напишнимъ питіи.... зубы заржавели, лицо обрюзгло, очи помраченные, забвеніе разума, руцы и ноги трясутся, сны страшливые, почи мятежныя.

1-я картина. На сценѣ четыре лица: двое изъ нихъ шепчутся между собою, а третій раскрываетъ пологъ постели и показываетъ спящаго пьяницу, около котораго стоитъ столъ, на немъ штофы съ водкой, рюмка и кусокъ хлѣба; подпись гласитъ: аще кто содружится со мною, доспѣю его блудника и къ Богу не молебника, въ нощи сонлива—и на молитву ленива.

2-я картина. На постелѣ въ комнатѣ спитъ пьяница, а около него представленъ князь, вцѣпившійся въ волосы своего слуги и бьющій его палкою. На столѣ стоятъ: водка, хлѣбъ, соль. Подпись: аще содружится со мною князь или боляринъ.... и пр. Вообще должно замѣтить, что надписи, взятыя изъ извѣстной повѣсти о *высокоумномъ хмелю*, входятъ въ картину не иначе, какъ въ сокращеніи, необходимомъ, по самому объему картины. Правая сторона изображенія хмеля носитъ слѣдующее заглавіе: Слово Кирилла Философа ко всякому человѣку: тако глаголетъ хмель: не осповайте (?) мене — добро будетъ вамъ, азъ есмь хмель имени велика и много позна, имѣю у себя ноги тонки; а главу высоку; а утробу необъядчиву.

1-я картина — пьянство клериковъ. Замѣчательно, что иногда

лубочная картина предлагаетъ намъ то, чего не находится въ повѣсти о *высокоумномъ хмелю* — и въ этомъ случаѣ — служитъ дополненіемъ къ ней. Такъ, напримѣръ, названная нами картина: пьянство клериковъ, не представляетъ отдѣльнаго цѣлаго эпизода въ напечатанной нами повѣсти о *хмелю*; напротивъ того, въ лубочной картинкѣ является съ характеромъ самостоятельнаго мотива.

2-я картина представляетъ пьянаго купца, котораго поднимаютъ рабочіе люди.

3-я картина — пьянаго мастероваго, котораго хозяинъ гонитъ палкою.

4-я картина открываетъ предъ нами двухъ пьяницъ. Одинъ, отяжелѣвъ, сидитъ, а другой точитъ изъ бочки. Подпись: съ похмелья голова болитъ, очи не видятъ. Вся картина заключается двумя нравоученіями, изъ которыхъ одно помѣщено подъ картиной съ правой, другое съ лѣвой стороны. Нравоученіе первое: тѣмъ же, братіе, подобаетъ о сихъ плакать паче нежели о мертвыхъ; умершій бо престаетъ отъ грѣха, пьяница же на всякъ день умираетъ грѣхомъ, связуетъ его діаволъ вся чувства, руцѣ и ноги и уста и очи ослѣпляетъ — и въ полдни ему конецъ бываетъ. Насъ же да сохранитъ Господь отъ того.

Нравоученіе съ лѣвой стороны: тако въ словѣ Іоанна Златоустаго о пьянствѣ: егда учи діаволъ бѣсы своя глаголя имъ: шедше поучайте христіанъ на пьянство и на запойство, въ пьяныхъ бо вся воля моя, трезвіи божіи суть: а пьяніи — мои есть: азъ же не радуюся о жертвахъ поганыхъ, что о христіанахъ пьяныхъ: трезвіи почитаютъ Господа; а пьяніи работаютъ діаволу и творятъ волю его.

Если повѣсть о *высокоумномъ хмелю* и не была произведеніемъ строго-народнымъ, то ея лубочныя редакціи съ картинками показываютъ народный взглядъ на пьянство — и въ этомъ смыслѣ представляютъ важные факты для воспроизведенія картины стариннаго русскаго бражничества. На этомъ-то основаніи мы позволили себѣ въ предыдущихъ статьяхъ нѣкоторыя заклю-

ченія и выводы о русскомъ пьянствѣ. Чтобы еще болѣе подтвердить ихъ, считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о другихъ изображеніяхъ русскаго запойства. Апоѳеоза хмеля на лубочныхъ листкахъ, какъ мы сказали, имѣетъ не много редакцій. Самая замѣчательная изъ нихъ состоитъ въ сокращеніи стиховъ и въ отсутствіи отдѣльныхъ картинъ; часто картина представляетъ самостоятельную передѣлку повѣсти о хмелѣ, даже стихи подъ рукою грамотника получаютъ иной оттѣнокъ, хотя старинный мотивъ остается одинъ и тотъ же. Вотъ стихи этой картины: «Аще содружится со мною великій властелинъ, и я учиню его, аки глупый поселянинъ; аще содружится со мною кая власть, постигнетъ его лютая напасть; аще содружится со мною черница — и она будетъ въ монастырѣ непостоянная жилица; аще купецъ со мною содружится, то купля его вскорѣ потребится; аще подъячій содружится со мною, то вся злая пострадетъ надъ собою; аще солдатъ или приставъ содружится — то всегда батогами оскорбится; аще рабъ или холопъ со мною содружится — во истину мерзокъ господину явится; аще ремесленникъ со мною содружится — то ремесло его вскорѣ погубится. Аще содружится со мною кая жена — и она будетъ мужу строптивая змѣя; аще со мною какого чина мужъ содружится — и онъ въ великихъ нуждахъ будетъ находиться; аще поселянинъ со мною содружится, то все село его пусто сотворится — и рости станетъ вмѣсто пшеницы крапива, а онъ начнетъ желать вина и пива». (См. у г. Снегирева, стр. 204.)

Въ нашей 3-й статьѣ мы привели двѣ картины русскаго запойства: о мастеровомъ, который вдался бѣсу, и пьяницѣ, утащенномъ изъ кружка діаволомъ. Дополнимъ наши выписки еще нѣсколькими любопытными чертами:

1-я картина, озаглавленная: *о пьянствѣ сказать безъ примѣсу, какъ нѣкто изъ мастеровыхъ вдался бѣсу*, представляетъ мастероваго за столомъ со штофами. Чортъ съ рогами подноситъ ему бутылку, откуда высматриваетъ змѣя съ жаломъ.... Другая половина той же картины изображаетъ діавола, уже несущаго

на своей спинѣ мастероваго въ адъ, изъ котораго исходитъ дымъ и огонь. Картина оканчивается, по обыкновенію, правоученіемъ: «Всякъ того стерегись — и во адскія сѣти не вались. Братіе! отстанимте пьянства и злаго запойства: когда намъ по вся дни упиватися — то и до смерти не проспатися; уже супостатъ нашъ діаволъ трезвъ есть, а не пьянъ; ищетъ поглотить пьяныхъ и лежащихъ, аки мертвыхъ — жалости ради пьянственной».

8-я картина, изображающая пьяницу, утащеннаго изъ кружка діаволомъ, открываетъ предъ нами шинокъ — и въ немъ множество людей. Сидитъ пьяница голый и къ нему подходитъ діаволъ съ предложеніями — и началъ пить нагой пьяница, не помышляя о душѣ своей, и приблизился вечеръ и тогда рече діаволъ къ прочимъ людямъ: аще кто купитъ коня, да подобаетъ взяти и узда; а вы сторонніе люди свидѣтели: купилъ у сего человѣка душу — подобаетъ взяти мнѣ и тѣло. И на всѣхъ человѣкъ внезапу нападе страхъ велій; а діаволъ взялъ пьяницу, потащивъ сквозь полъ во адъ на вѣки вѣчныя муки. Картина представляетъ группу людей, недвижныхъ отъ ужаса, какой произвела на нихъ діавольская логика. Изъ подъ пола видѣнъ грѣшникъ — пьяница, сидящій въ огнѣ во рту у діавола.

Картина *сонъ пьянаго на масляницѣ съ большаго перехмелья* — переноситъ насъ въ шинокъ съ бочками и штофами. Цѣлыя толпы людей, молодые и старики, дѣти и женщины, предаются пьянству: одни точатъ вино изъ бочекъ, другіе пьютъ его рюмками, стаканами и цѣлыми корцами.

Приведенные нами факты достаточно оправдываютъ, думаемъ мы, наши заключенія о характерѣ старшинаго порока — *злаго запойства*, и намъ нѣтъ надобности останавливаться на нихъ долѣе и продолжать это обозрѣніе; мы перейдемъ теперь къ остальнымъ нашимъ выводамъ и поищемъ для нихъ такого же фактическаго подтвержденія. Говоря о томъ смыслѣ и значеніи, какое получаетъ образъ *смерти съ косою* въ русскихъ лубочныхъ изображеніяхъ, мы имѣли въ виду большинство случаевъ, и не могли остановиться на той картинѣ, которая противорѣчитъ нашему

взгляду. Эта картина встрѣчается въ лубочной галлереѣ довольно часто и носитъ названіе: *храбрый воинъ Аника*. Сильный и храбрый воинъ Аника ѣздилъ по чисту полю и прінде къ нему смерть— и рече ему: о, человѣче, азъ къ тебѣ пришла погубити тебя — и рече Аника воинъ: что ты за баба, что за пьяница, я тебя не боюсь и кривыя твоея косы и оружія не страшусь; азъ есмь воинъ, ѣзжу по чисту полю — и много побилъ царей и королей и сильныхъ богатырей.... а азъ къ тебѣ пришла погубити тебя. Потомъ Аника воинъ въ силѣ своей изнеможе и рече: о смерте, мати моя — дай мнѣ сроку на годъ — и рече смерть: нѣтъ тебѣ ни на полгода! и рече Аника — о смерте, дай мнѣ сроку хоть на 8 мѣсяца — нѣтъ тебѣ ни на три недѣли; дай мнѣ сроку хоть на 8 дни — нѣтъ тебѣ ни на три часа; дай мнѣ сроку хоть на часъ — нѣтъ тебѣ, ни на полъчаса — и подкоси его смерть кривою косою...». Эта *единственная* картина нисколько не противорѣчитъ нашимъ заключеніямъ о характерѣ *смерти* въ русскихъ лубочныхъ изображеніяхъ: прежде всего она поражаетъ насъ безукоризненною возвышенностію своего содержанія, чуждою всего обыденнаго, грязнаго, составляющаго постоянный предметъ лубочныхъ изображеній. Герой Аника, славный и сильный воинъ, какъ-то не нарокомъ или по преданію зашелъ въ лубочную галерею и представляетъ въ ней эпически-серьозное, исключительное явленіе, не имѣющее ничего общаго съ остальными произведеніями: оно никакъ не уничтожаетъ нашихъ выводовъ о смерти, подтвержденныхъ многими другими фактами и находящихъ себѣ полное оправданіе въ лубочныхъ картинкахъ втораго отдѣла — производителями и творцами которыхъ были грамотники. Къ нимъ-то мы обращаемся теперь.

1) *Картина*, озаглавленная: *Четыре вещи послѣднія*, съ надписями: «Симъ молитву дѣетъ, Хамъ пшеницу сѣетъ, Афетъ власть имѣетъ — смерть всѣмъ владѣетъ», представляетъ зракъ смерти, гробъ, олицетворенное время съ крыльями, догарающую свѣчу и другіе предметы, напоминающіе намъ о тлѣнности, но не раскрывающіе намъ цѣну жизни и ея радостей. Самая кар-

тина греческаго происхожденія, и въ доказательство мы позволимъ себѣ небольшое сближеніе. Въ одной рукописной книгѣ XV в., греческаго инока Діонисія, находимъ слѣдующее изображеніе *несмысленной* жизни и *обманчиваго міра*. Въ срединѣ круга помѣщена фигура міра или, скорѣе, времени; а вокругъ времена года въ мужескомъ видѣ и знаки мѣсяцевъ; наружный кругъ содержитъ въ себѣ лѣстницу человѣческой жизни о семи ступеняхъ — и каждая имѣетъ приличную надпись; такъ около имени ребенка въ 7 лѣтъ стоятъ слова: когда-то я достигну вершины; около имени мужа въ 28 лѣтъ, который сидитъ на престолѣ въ коронѣ съ скипетромъ въ рукѣ, стоитъ: кто царь на землѣ, если не я, или, кто сильнѣе меня? — При имени старика стоятъ слова: о смерть, кто можетъ избѣгнуть тебя? Внизу картины находимъ въ могилѣ огромнаго дракона, который держитъ въ своихъ лапахъ человѣка; а около другой могилы стоитъ *смерть* съ словами: всепоглощающая пропасть и смерть [1]). Еще ближе къ греческой картинѣ наше расположеніе жизни по седмицамъ. Картина представляетъ лѣстницу: пять ступеней ея ведутъ на верхъ, а остальныя пять — внизъ, въ могилу.

1-я седьмица — младенецъ, и ничего не разумѣетъ.

2-я седьмица — игры, рѣзвость, младенцы въ куклы играютъ; поневѣ злу невинны бываютъ.

3-я седьмица — человѣкъ вступаетъ въ 21 годъ своего существованія и получаетъ тѣлесныя похоти и склонность къ женскому полу.

4-я седьмица — человѣкъ помышляетъ о женитьбѣ до 28 лѣтъ, о собраніи богатства и хорошей жизни, потомъ почувствуетъ суету суетствій міра сего.

5-я седьмица — мужъ домостроитель — 35 лѣтъ, средина человѣческой жизни отсюда начинается сходъ по лѣстницѣ внизъ.

6-я седьмица — человѣкъ увядаетъ нечувствительно до 42 лѣтъ.

---

1) Piper, Mythologie der christ. Kunst, II, p. 836—7.

7-я седьмица — человѣкъ груститъ, прошедшее вспоминая.

8-я седьмица — человѣкъ, едва достигаетъ 58 лѣтъ, ослабѣваетъ всѣми силами.

9-я седьмица продолжается до 98 лѣтъ, когда человѣкъ впадаетъ въ крайнее изнеможеніе.

10-я седьмица. Человѣкъ помышляетъ о смерти и о будущей жизни.

Не мало встрѣчается лубочныхъ картинъ, изображающихъ жизнь по седмицамъ: иногда каждая седмица изображается особою картиною; иногда же всѣ седмицы представляются въ общей картинѣ возраста человѣческаго, въ лицахъ, часто разнятся онѣ между собою въ счетѣ годовъ и во взглядѣ на значеніе годовъ въ развитіи жизни человѣческой; но характеръ и главнѣйшіе мотивы картинъ поражаютъ своимъ согласіемъ. Вотъ, напримѣръ, нѣсколько отдѣльныхъ изображеній — періодовъ человѣческой жизни: картина человѣческой жизни въ 60 лѣтъ выводитъ прядущую старуху, въ очкахъ, и старика, считающаго червонцы; въ 70 мы встрѣчаемъ того же старика, но уже на костыляхъ, оправдывающаго русскую поговорку: старость — не радость. Въ 80 лѣтъ, картина изображаетъ намъ старика не въ своемъ умѣ, ослабѣвшаго памятью и погруженнаго въ спячку. Въ 90 лѣтъ, старикъ уже не можетъ двигаться — и лучшее его упованіе — посохъ и стулъ; наконецъ, приходитъ послѣдняя седмица, 100 лѣтъ жизни, а за нею и смерть съ крыльями; она поражаетъ стрѣлою одного, а другаго беретъ за руку. На лицахъ стариковъ отражается совершенное спокойствіе: смерть приходитъ въ такую минуту, когда они нечувствительны уже ни къ чему земному [1])!

---

1) Для библіографовъ позволю себѣ въ настоящемъ случаѣ сдѣлать еще одно замѣчаніе: Московскія Вѣдомости, имѣвшія всегда такой обширный кругъ читателей, въ свою очередь обнаружили извѣстную долю вліянія на лубочныя картины и дали содержаніе нѣкоторымъ изъ нихъ. Такъ встрѣчаются картина извержснія Везувія, съ ссылкою на описаніе его въ Моск. Вѣд. 1766 г., № 40;

Два вопроса русской исторической науки.

1857.

(Письмо къ редактору газеты Молва по поводу изданія русскихъ народныхъ пѣсенъ П. В. Кирѣевскаго [1]).

Вы не ошиблись, милостивый государь, въ томъ сочувствіи, какое должно встрѣтить предпринимаемое изданіе народныхъ русскихъ пѣсенъ. Ваше извѣстіе о Сборникѣ покойнаго П. В. Кирѣевскаго, приготовляемомъ къ скорому выходу въ свѣтъ г. Якушкинымъ, пробудило много дорогихъ надеждъ, много свѣтлыхъ вѣрованій въ великую будущность русской исторической науки. Въ вашемъ извѣстіи мы видимъ не простую газетную замѣтку, схваченную на лету и чрезъ десятыя руки, часто невѣрную и почти всегда незначительную, нѣтъ! въ немъ мы находимъ послѣдній отвѣтъ на тотъ вопросъ, который съ давняго времени лежитъ у насъ на душѣ — и не находитъ удовлетворенія. Безъ сомнѣнія, мы ни на минуту не отчаивались въ участи собранія П. В. Кирѣевскаго: — добытое честнымъ и тяжелымъ трудомъ никогда не исчезнетъ безслѣдно — мы даже думали, что чѣмъ болѣе положено времени и усилій на приготовленіе изданія, тѣмъ послѣднее будетъ исправнѣе и безукоризненнѣе; но съ тѣхъ поръ, какъ была издана первая часть его, заключающая въ себѣ *духовные стихи*, наши ожиданія приняли нетерпѣливый характеръ, не умѣряемый даже превосходными отрывками, помѣщенными на страницахъ *Московскаго Сборника* (1852) и *Русской Бесѣды*. Вотъ почему ваша вѣсть (Молва, № 3) имѣла для насъ живое значеніе, вотъ почему въ настоящемъ

картина страшнаго урода, привезеннаго въ Барселону съ ссылкою на М. В. 1760 г., № 55; картина кита, видѣннаго въ Бѣломъ морѣ (М. В. 1760 г., № 58); подвигъ гренадера Фанагорійскаго полка. Проспектъ Суворова (М. В. 1805 г., № 97, и пр.) Хотя картины, почерпнутыя изъ Моск. Вѣдомостей, касаются незначительныхъ случаевъ и происшествій, однако одинъ этотъ фактъ можетъ служить доказательствомъ популярности Моск. Вѣд. въ прошломъ столѣтіи.

[1]) *Молва* 1857, мая 4, № 4. Подпись: 28 апрѣля. *Городской читатель Молвы.*

случаѣ я рѣшаюсь обратить къ вамъ слово скромной душевной благодарности. Конечно, вы очень хорошо понимаете и сознаете значеніе народныхъ пѣсенъ для нашей исторической науки; понимаютъ ли, сознаютъ ли это другіе, пользуются ли ими изслѣдователи, занимающіеся старинными судьбами нашего отечества? Къ сожалѣнію, на этотъ вопросъ можно отвѣчать только отрицательно. Ихъ историческіе труды, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ очень почтенные и полезные, представляютъ въ этомъ случаѣ рѣшительные и замѣтные пробѣлы: въ немногихъ изъ нихъ говорится о народныхъ пѣсняхъ — и то такимъ скромнымъ образомъ, что можно подумать, что мы или вовсе не богаты ими, или онѣ не представляютъ ничего замѣчательнаго и важнаго. Конечно ни вы, ни я, съ этимъ не согласимся, а съ нами вмѣстѣ — и всякій, кто сколько нибудь знакомъ съ нашею богатою народною поэзіею. Это замѣчательное явленіе современной исторической науки повело за собою нѣкоторую односторонность взгляда на весь старшный бытъ нашего отечества. Дѣйствительно, какъ ни полна и — если позволите такъ выразиться — *яркостна* картина его, начертанная на основаніи однихъ лѣтописныхъ замѣтокъ и сухихъ правительственныхъ актовъ, въ ней не достаетъ главнаго, именно: какъ народъ понимаетъ самого себя, свою собственную жизнь, свои бытовыя отношенія и условія, — безъ этого не только не полна исторія, но она не можетъ даже существовать, какъ художественная картина народной жизни, широкій разливъ которой не подходитъ ни подъ какія, заранѣе придуманныя, логическія формы. Мѣрять все на одинъ *юридическій* аршинъ — такая же односторонность, какъ и идеализація, отыскивающая въ историческихъ событіяхъ и фактахъ то, чего въ нихъ нѣтъ и, по общественнымъ условіямъ, быть не могло; и то, и другое — крайности, мѣшающія спокойному, художественному историческому созерцанію. За примѣромъ позвольте мнѣ обратиться въ самую глубь давно прошедшихъ вѣковъ русской жизни, къ первому періоду ея исторіи. За исключеніемъ географическихъ и территоріальныхъ опредѣленій, всегда по-

стоящихъ и неизмѣнныхъ, за вычетомъ нѣсколькихъ извѣстій иностранныхъ и русскихъ, занесенныхъ въ лѣтопись съ чужого голоса или по преданію — что находимъ мы на страницахъ исторіи о судьбахъ русской земли до пришествія сѣверныхъ варяговъ? Гдѣ тотъ періодъ нашей исторіи, который на чужомъ языкѣ называется героическимъ, на нашемъ можетъ быть также удачно названъ — богатырскимъ? Не говорите, что это явленіе чуждо русскому духу; оно — обще всѣмъ индоевропейскимъ племенамъ — и наша народность въ то время еще не успѣла получить того рѣзкаго обособленія, съ характеромъ котораго мы видимъ ее въ вѣка послѣдующіе, и сохранила полную память своего индоевропейскаго происхожденія. Греки имѣли свою героическую эпоху, ясно и цѣльно выразившуюся въ ихъ безсмертныхъ эпическихъ созданіяхъ, Германцы — свою, сказавшуюся въ пѣсняхъ древней Эдды и средневѣковыхъ героическихъ поэмахъ: куда же скрывалось это золотое поэтическое время, это свѣжее утро нашихъ историческихъ предковъ — Славянъ? Или оно прошло безслѣдно и не положило въ сокровищницу исторіи ни одной лепты, ни одного скромнаго приношенія. Гдѣ оно? Историки молчатъ о немъ, потому что оно не вписано въ старинныя хартіи, не встрѣчается ни на страницахъ иноческихъ *повѣстей временныхъ лѣтъ*, ни въ правительственныхъ актахъ, ни въ завѣщаніяхъ князей и т. д.; но народная память лучше всякихъ письменныхъ документовъ сохранила намъ величественные образы этого героическаго, богатырскаго періода народной жизни — и если первой страницей исторіи должна быть географическая ландкарта, то введеніемъ, истиннымъ началомъ русской народной исторіи должна быть наша богатырская былина, суровые типы которой замыкаютъ темную миѳическую старину и открываютъ народу новые историческіе пути. Такимъ образомъ только одна народная пѣсня можетъ, до нѣкоторой степени, возстановить цѣлый потерянный періодъ русской исторіи; а этотъ юный поэтическій періодъ такъ значителенъ и важенъ! Если и теперь, по истеченіи цѣлаго десятка вѣковъ, на Сѣверѣ и въ глубинахъ

Сибири, простолюдинъ съ любовью поетъ про славныхъ своихъ витязей и богатырей, то что же было въ ту эпоху, когда народъ въ богатырскіе образы отливалъ свою собственную человѣческую мощь и сущность, когда эти образы были для него дороги и близки, когда онъ чувствовалъ ихъ *живое* значеніе, любовался ихъ нравственною физіономіею, понималъ сердцемъ ихъ высокій смыслъ и значеніе.

Къ сожалѣнію, современная наука не обратила почти никакого вниманія на героическій періодъ нашей исторіи и, сколько можно судить по отрывочнымъ замѣчаніямъ, не признала даже за нимъ права отдѣльнаго самостоятельнаго существованія. Первая и главная причина этого лежитъ, конечно, въ незрѣлости самой науки; но были и другія обстоятельства, много способствовавшія распространенію такого односторонняго взгляда на древнѣйшій періодъ нашей исторіи. Позвольте мнѣ, милостивый государь, для нихъ попросить вашего снисхожденія на нѣсколько минутъ времени; быть можетъ, и эти легкія замѣчанія не совсѣмъ окажутся безполезными.

Прежде всего о незрѣлости науки. Винить тутъ, кажется, некого: историки скромно работаютъ и воздѣлываютъ небольшіе участки огромнаго историческаго поля; имъ нѣтъ ни времени, ни охоты заходить въ далекую чащу миѳическихъ временъ; они не привыкли къ этой работѣ и не знакомы ни съ методомъ, ни съ пріемами для такого опаснаго предпріятія, они оставляютъ это спеціалистамъ филологамъ и лингвистамъ, людямъ исключительно себя посвятившимъ изученію доисторической отечественной старины; но опытные лингвисты — такъ немногочисленны въ нашей наукѣ, самая лингвистика такъ молода и принуждена бороться съ такими трудностями, вольными и невольными, что нельзя не поудержаться на время отъ всякаго праздnаго слова на науку и ея честныхъ тружениковъ: наука не можетъ дѣлать скачковъ, она зрѣетъ постепенно, по мѣрѣ открытія матеріала и усвоенія, обработки его. Безсмысленно было бы упрекать науку въ косности тогда, когда у ней нѣтъ здоровой пищи, матеріала; а въ

такомъ именно положеніи, если сказать правду, находится русская наука относительно народной поэзіи. За исключеніемъ *Древнихъ Россійскихъ стихотвореній*, собранныхъ извѣстнымъ Киршею Даниловымъ, у насъ нѣтъ ни одного *порядочнаго* и обстоятельнаго изданія народныхъ пѣсенъ; вездѣ мы встрѣчаемъ подновленный языкъ, измѣненный строй народной рѣчи, неумѣнье точно передать слышанное — и отсюда искаженіе первоначальнаго смысла; иногда посреди вѣрной благозвучной народной рѣчи попадаются нѣсколько стиховъ совершенно противныхъ народному духу и языку и видимо принадлежащихъ чьему-то постороннему вдохновенію, и т. д. Всѣми этими качествами съ присоединеніемъ еще многихъ другихъ — изобилуютъ наши сборники и преимущественно извѣстный сборникъ Сахарова, въ его *Сказаніяхъ русскаго народа*. Справедливость, однако, требуетъ замѣтить, что старинные сборники Чулкова, Прача несравненно выше, по своему достоинству, всѣхъ новѣйшихъ; но они давно уже успѣли сдѣлаться библіографическою рѣдкостью и недоступны большинству нашей образованной публики. Вотъ почему ваше извѣстіе о собраніи Кирѣевскаго пробудило въ насъ свѣтлыя надежды на возможность возрожденія перваго героическаго періода нашей исторіи! Зная, сколько честнаго труда положилъ на это дѣло покойный собиратель, зная опытность ихъ издателя и имѣя предъ глазами еще съ 47-го года прекрасное начало самаго изданія, мы имѣемъ полное право ожидать отъ этого богатаго собранія многихъ добрыхъ плодовъ для русской исторической науки. Здѣсь не мѣсто распространяться объ этомъ предметѣ — и я позволю себѣ только указать на допсторическій періодъ жизни русскаго народа, вопросъ о которомъ стоитъ, такъ сказать, на очереди въ наукѣ и требуетъ неукоснительнаго разрѣшенія. Какъ мы уже имѣли случай замѣтить, это — задача историка-лингвиста и, понятно, съ какимъ чувствомъ онъ долженъ смотрѣть на осуществленіе своего дорогаго чаянія, направленнаго прямо къ собранію П. Кирѣевскаго. Этимъ, однако, не ограничится все доброе, что можетъ принести это предпріятіе:

своевременное его изданіе, быть можетъ, разрѣшитъ одинъ изъ тѣхъ важныхъ педагогическихъ вопросовъ, который, съ легкой руки г. Греча и его послѣдователей, получилъ особенное значеніе въ современной ученой литературѣ. Мы говоримъ объ обученіи грамматикѣ роднаго языка. Старинная грамматическая школа, въ лицѣ своего старѣйшины, бросила анаѳему на народную русскую рѣчь, называя ее площадною и тривіальною и запрещая учащемуся поколѣнію прикасаться къ ней изъ опасенія испортить свою рѣчь простонароднымъ элементомъ. Все это, конечно, — печальныя слѣдствія незнакомства съ нашею народною поэзіею и непониманія ея истинныхъ красотъ. Изданіе сборника Кирѣевскаго, безъ сомнѣнія, явится законнымъ судьею (juge compétent) въ рѣшеніи возникшаго, по этому поводу, спора. Тогда, можетъ быть, появится русская грамматика, построенная на чисто-народной основѣ и достойная тѣхъ ожиданій, съ какими — вотъ уже 20 лѣтъ — обращаются къ ней учащіе и учащіеся. Будемъ же надѣяться, что пріятныя ожиданія, пробужденныя вашею замѣткою, въ скоромъ времени исполнятся и принесутъ давно желаемые плоды и новые успѣхи нашей отечественной науки. Въ заключеніе, милостивый государь, позвольте мнѣ поблагодарить васъ за ваше снисходительное вниманіе къ этимъ легкимъ замѣчаніямъ, вызваннымъ вашимъ же литературнымъ извѣстіемъ.

28-го апрѣля.

Сказанія о русскихъ богатыряхъ.

1857.

Русская исторія начинается отрицаніемъ стараго. Въ первые вѣка своего историческаго существованія Русь испытала сильный внутренній переворотъ, исполнившій всю послѣдующую ея исторію столь вопіющихъ антиномій и такого страннаго совмѣщенія несовмѣстимаго. По своей духовной высотѣ, христіанство было прямо противоположно чувственному, живому характеру

язычества; его величіе, чуждое земныхъ треволненій, оскорблялось языческими вѣрованіями и обрядами, въ основаніи которыхъ лежало простое поклоненіе природѣ и ея явленіямъ. Борьба была неизбѣжна — и какая продолжительная, упорная борьба! Разверните страницы лѣтописи и житія подвижниковъ нашей церкви, прислушайтесь къ голосу проповѣдниковъ и смиренныхъ обличителей мірской суетности—нашихъ отшельниковъ, и предъ вами развернется живая картина поразительныхъ усилій съ одной стороны и упорной стойкости съ другой.

Новыя начала не скоро пустили свои корни въ жизнь. Они пришли изъ чужбины и хотѣли вытѣснить обычаи и вѣрованія, любимые и уважаемые народомъ.

Названія этихъ живыхъ обычаевъ глубоко коренились въ языкѣ народа и были освящены исконнымъ употребленіемъ; лѣса, горы, болота имѣли для него свое религіозное значеніе. Отъ всего этого народъ долженъ былъ отказаться: все чтимое и уважаемое имъ преслѣдовалось какъ грѣхъ и преступленіе. Высокія слова любви и нравственнаго ученія были непонятны и недоступны душѣ язычника, его чувственная природа не доросла еще до пониманія идеи новой религіи и, не отказавшись отъ обаянія темной старины, сдѣлалась *двоевѣрною*, поклонялась Перуну, Хорсу, Мокоши наравнѣ съ христіанскимъ Богомъ, приносила жертвы идольскія, смѣшивала *чистыя молитвы съ проклятымъ моленіемъ идольскимъ* [1]). Слѣды такого смутнаго состоянія умовъ мы встрѣчаемъ еще въ 16 и 17 столѣтіяхъ. Но живое воззрѣніе на природу, воспитанное язычествомъ, утратилось гораздо ранѣе; обычаи, повѣрія, преданія, потерявъ свою жизненность, низошли на степень привычки, тѣмъ болѣе тяжелой для души, чѣмъ менѣе въ ней сохранилось старинной эпической юности и красоты. Съ

1) См. Слово Христолюбца по рукописи 16-го вѣка Румянцов. музея. Описаніе Востокова, стр. 228—9. Вирочекъ, *двоевѣріе* было явленіемъ общимъ всей Западной Европѣ въ эпоху борьбы христіанства съ язычествомъ. Мы встрѣчаемъ его и у Норманновъ, Нѣмцевъ, Англо-Саксовъ. См. Jacob Grimm, Deutsche Mythologie. 1854 г., I, стр. 6—7.

одной стороны, темные образы невѣдомыхъ силъ, порожденныхъ суевѣріемъ и предразсудками, съ другой—постоянная боязнь наказанія за бѣсовскую прелесть—тяжелымъ гнетомъ ложились на душу народа и отражались въ жизни его самымъ печальнымъ образомъ. Почти то же самое должно замѣтить и относительно народной поэзіи. Ея основа, ея образы сложились и опредѣлились въ эпоху, предшествовавшую христіанству. Послѣднее застало ее въ полномъ цвѣтѣ юности и не могло оправдать ея уже потому, что она была дѣломъ еретическимъ, была порожденіемъ старины, хранилищемъ ея откровеній. Новыя начала породили и воспитали другую литературу, не допускавшую подобныхъ искусительныхъ обращеній къ старинѣ и языческому преданію; благодаря ей, мы имѣемъ самыя вѣрныя и положительныя свѣдѣнія о протекшей жизни нашего отечества. Ибо лѣтопись, если иногда и нисходила до языческой старины, то только за тѣмъ, чтобы похулить за дѣла сатанинскія и предостеречь другихъ отъ русалій, скомороховъ, забавъ трубами и пѣсенъ бѣсовскихъ. Въ этомъ обстоятельствѣ, можетъ быть, скрывается причина юридическаго характера нашей древней лѣтописи, замѣнившей старинное преданіе, значительно уже поколебленное новыми началами.

Чуждаясь всего земнаго, возвышенный аскетическій духъ первыхъ вѣковъ нашей христіанской жизни не могъ предложить новой основы для поэзіи, дѣла исключительно мірскаго, языческаго. Она долгое время питалась тѣми корнями, которые были глубоко сокрыты въ ея старинѣ: прежними вѣрованіями и языческимъ міросозерцаніемъ.

Правда, съ теченіемъ времени привходили сюда и новыя начала и произвели цѣлый отдѣлъ такъ называемыхъ духовныхъ стиховъ; но стоитъ взглянуть на любое произведеніе въ этомъ родѣ, чтобы убѣдиться, какъ изъ-за новой одежды ярко свѣтится старинное преданіе и сообщаетъ всей картинѣ какой-то неопредѣленный колоритъ *двоевѣрія*. Замѣтимъ кстати, что эти стихи никогда не были собственностью цѣлаго народа и возникли уже времена позднѣйшія, когда народное творчество истощалось и

поэзія держалась силою обычая, привычки, не производя ничего новаго и едва-едва сохраняя старое. Но въ первые вѣка нашей исторіи мы находимъ народную поэзію во всей юной свѣжести и красотѣ ея. Она сохранилась даже до нашего времени и не утратила своего стариннаго колорита. Лучшимъ доказательствомъ тому служатъ наши *сказанія* о *богатыряхъ* или *герояхъ*.

Въ 4-й книгѣ Русской Бесѣды истекшаго года помѣщена статья г. К. Аксакова: «О богатыряхъ временъ князя Владиміра, по Русскимъ пѣснямъ». Цѣлью этой статьи, по словамъ самого автора, не было изслѣдованіе или разсужденіе о богатыряхъ, а только изложеніе возможно полное и стройное богатырскихъ пѣсенъ и характеристика богатырей. Не смотря на это ограниченіе, статья представляетъ столько оригинальнаго, что имѣя въ виду высказать нѣсколько мыслей о томъ же предметѣ, мы позволимъ себѣ иногда обращаться къ мнѣніямъ г. Аксакова, тамъ, гдѣ они, по нашему крайнему разумѣнію, представляются невѣрными.

Вопросъ о происхожденіи сказаній о герояхъ и богатыряхъ, о началѣ ихъ и дальнѣйшемъ развитіи—рѣшался различно. Одни находили, что основаніемъ ихъ служили древнѣйшія сказанія о богахъ, которые, съ теченіемъ времени, теряли свой первоначальный видъ и принимали земныя, чувственныя формы, другіе—влагали въ нихъ историческую истину, подъ вліяніемъ свободной фантазіи народа, принявшую видъ чудеснаго происшествія, изукрашенную вымысломъ. Къ такимъ мнѣніямъ изслѣдователи были приведены нѣкоторыми частными фактами—и въ этомъ отношеніи нельзя отказать имъ въ извѣстной справедливости; но несостоятельность ихъ является при первомъ взглядѣ на цѣлое, на то, что мы называемъ полнымъ цикломъ историческаго народнаго эпоса. Въ самомъ дѣлѣ, если сказанія о герояхъ и богатыряхъ были простымъ овеществленіемъ сказаній о богахъ, если самые герои и богатыри были только низведенные на землю небожители, то какимъ образомъ стирается ихъ индивидуальная и народная сторона, содержаніе сказаній расширяется, теряетъ

свою опредѣленность и свой колоритъ и получаетъ видъ чего-то безформеннаго, безжизненнаго. Не менѣе непрочно и историческое объясненіе. Во всемъ циклѣ эпическихъ сказаній едва можно отыскать нѣсколько именъ собственно историческихъ, да и то съ такими странными анахронизмами и смѣшеніями, что плодомъ всѣхъ попытокъ исторически объяснить сказанія о богатыряхъ и герояхъ бываютъ или несбыточныя надежды на будущее время [1]), или полное убѣжденіе въ исторической недостовѣрности этихъ сказаній.

Предметъ этотъ имѣетъ такую важность для насъ относительно главнаго предмета нашей статьи, что мы позволимъ себѣ войти въ небольшія подробности и отсюда уже опредѣлить нашу точку зрѣнія на богатырей, сущность богатырства (Heldenthum) вообще и русскаго въ особенности.

Сказанія о похожденіяхъ и подвигахъ героевъ и богатырей у насъ общи со всѣми Индо-Европейскими племенами, Нѣмцами, Галлами, даже Греками и Индѣйцами. Они различаются между собою содержаніемъ и представленіемъ, но отъ всѣхъ вѣетъ общій духъ племеннаго до-историческаго сродства, ясно обозначающій ихъ родственную природу.

Поэтому, прибѣгая къ сближеніямъ русскихъ сказаній съ нѣмецкими и т. д., мы только расширяемъ нашъ кругозоръ, увеличиваемъ средства къ открытію истины, нисколько не посягая на оригинальность и самобытность сказанія; ибо, по нашему мнѣнію, все то самобытно и *народно*, что истинно и принято нами вслѣдствіе убѣжденія въ его разумности и необходимости, гдѣ бы оно ни выросло и воспиталось: у Нѣмцевъ ли, у Французовъ, или въ средостѣніи сыновъ Поднебесной имперіи.

Еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія одинъ изъ первыхъ знатоковъ народной поэзіи упрекалъ современныхъ ему истори-

---

1) Русская Бесѣда, № 4, статья г. К. Аксакова о богатыряхъ и проч. стр. 56.

ковъ въ неправильномъ пониманіи характера историческаго сказанія и преданія.

Въ то время, когда одни факты, содержаніе которыхъ видимо принадлежитъ къ области народныхъ сказаній, вносятся безъ затрудненій въ достовѣрную исторію, какъ событія дѣйствительно случившіяся,—другіе, во всемъ сходные съ первыми, съ презрѣніемъ отбрасываются въ сторону, какъ жалкій вымыселъ разстроеннаго воображенія или ребяческая забава праздолюбцевъ. Время значительно смягчило силу подобныхъ упрековъ, и истинная наука уже отличаетъ сказочный характеръ событія отъ дѣйствительнаго и указываетъ каждому изъ нихъ свое особое мѣсто въ общей исторіи народа. Но есть изслѣдователи, для которыхъ упрекъ Гримма еще не утратилъ своего значенія: они заботливо отыскиваютъ строгую историческую истину и событіе тамъ, гдѣ ихъ быть не можетъ, гдѣ вмѣсто событія находимъ миѳъ, вмѣсто свидѣтельства — сказаніе или темное преданіе, истину относительную вмѣсто истины реальной. Къ числу такихъ изслѣдователей, какъ намъ кажется, принадлежитъ отчасти и г. Аксаковъ; по крайней мѣрѣ, такъ мы понимаемъ его усилія согласить противорѣчія нашихъ богатырскихъ сказаній и тѣ историческія оправданія и толкованія, къ какимъ прибѣгаетъ онъ въ случаяхъ, когда факты противорѣчатъ его заранѣе сложившимся убѣжденіямъ.

Смѣшивая сказаніе съ исторіей, мы теряемъ изъ виду его существенный характеръ, придаемъ ему вещественную, земную истину, которой оно не имѣетъ, и отрицаемъ ту духовную истину, которая составляетъ его сущность. Сказаніе (сага) идетъ совершенно другимъ путемъ и смотритъ на вещи другими глазами, нежели исторія: ему недостаетъ того жизненнаго человѣческаго чувства, которымъ такъ сильно дѣйствуетъ на насъ исторія, за то оно умѣетъ соглашать и возводить всѣ частныя отношенія до спокойной эпической ясности.

Между исторіею и сказаніемъ—такое же отношеніе, какое соединяетъ добродѣтель дѣйствительной жизни съ добродѣтелью

поэзіи. Счастливъ народъ, когда исторія его вмѣстѣ съ поэтическими сказаніями имѣетъ, подобно дню, свое утро и свой вечеръ, когда его протекшая жизнь, не всегда доступная слабому зрѣнію современной науки, полно и ясно раскрывается въ его сказаніяхъ и преданіяхъ. Не нужно забывать, что сказанія о героическихъ, богатырскихъ временахъ русской жизни записаны не ранѣе начала прошлаго столѣтія [1]), и что мы не имѣемъ того непрерывнаго преданія о герояхъ и богатыряхъ, которымъ, начиная съ 6-го вѣка и кончая нашею современностію, такъ богата нѣмецкая литература [2]). Это внушаетъ изслѣдователю особенную осторожность и умѣренность въ историческихъ выводахъ. Принять наши сказанія о богатыряхъ такъ, какъ они дошли до насъ, мы не можемъ уже и потому, что въ нихъ господствуетъ смѣшеніе самыхъ разнородныхъ вещей: понятій и взглядовъ, событій и даже цѣлыхъ эпохъ. Критика здѣсь такъ же необходима, какъ и при разборѣ какого либо историческаго памятника; но критеріумъ и пріемы ея должны быть другіе; здѣсь почти невозможна повѣрка фактовъ фактами же: нужно понять цѣлое и проникнуть въ сущность сказанія, чтобы всѣ мелкія частности и неточности получили надлежащій смыслъ и объясненіе. Здѣсь все зависитъ отъ точки зрѣнія на предметъ. Историческій анализъ и сближенія облегчаютъ доступъ къ нему; но только свѣтлый взглядъ на дѣло снимаетъ недоразумѣнія, не разрѣшимыя обыкновеннымъ путемъ исторической критики.

Какъ въ древнѣйшихъ сказаніяхъ германскихъ племенъ мы уже встрѣчаемъ нѣкоторые строго историческіе факты и географическія опредѣленія, такъ и въ сказаніяхъ о русскихъ богатыряхъ мы встрѣчаемъ много лицъ, замѣченныхъ исторіею, каковы напримѣръ самъ сказочный князь Владиміръ, его дядя Добрыня

---

1) Древнія Россійскія стихотворенія, собранныя Киршею Даниловымъ. М. 1818. Предисловіе Калайдовича, стр. 1—11.

2) См. превосходное сочиненіе Вильг. Гримма, Die Deutsche Heldensage, 1829 г., гдѣ собраны хронологически и оцѣнены всѣ преданія и извѣстія о нѣмецкихъ герояхъ.

Никитичъ, Ставръ боярин, о которомъ лѣтопись подъ 1118 годомъ, согласно съ старинным стихотвореніемъ, повѣствуетъ, что онъ былъ заключенъ въ темницу Владимиромъ Мономахомъ. Не упоминая уже о множествѣ положительныхъ географическихъ опредѣленій, мы укажемъ на сказаніе глубокой древности, принесенное русскими Славянами, вѣроятно, еще съ мѣста ихъ перваго историческаго пребыванія, о Дунаѣ и его женѣ, отъ котораго и рѣка Дунай получила свое названіе. Такое соприкосновеніе дѣйствительной исторіи съ сказаніемъ относится къ тому времени, которое не дѣлаетъ различія между поэзіей и исторіей, когда еще не утратилась свѣжесть преданія и невозможно сомнѣніе въ его истинѣ. Сказаніе допускаетъ историческое лицо въ свою область или привязываетъ свой собственный разсказъ къ дѣйствительному происшествію (какъ напр. повѣсть о заключеніи Ставра). Поводомъ къ этому можетъ служить сходство именъ (какъ имени Владимира Мономаха съ Владимиромъ Святымъ въ той же исторіи) или сходство самыхъ происшествій. Намъ нѣтъ нужды слѣдить за измѣненіями русскихъ сказаній подъ вліяніемъ историческихъ событій: они очевидны для всякаго. Сказаніе, основа котораго видимо была заложена во времена, предшествовавшія исторіи, продолжало еще свою жизнь въ народѣ, принимая близко къ сердцу всѣ его интересы. Такимъ образомъ, является и орда, и царь Иванъ Васильевичъ, и Ермакъ Тимоѳеевичъ (стихотворенія записаны въ Сибири), и Скопинъ-Шуйскій, и Петръ Великій съ его боярами. Нѣкоторыя изъ этихъ именъ объясняются прямымъ непосредственнымъ историческимъ вліяніемъ; другія, каковы имена народовъ: Татаръ, Турокъ, тѣми представленіями, въ какія любила облекать фантазія народа его столкновенія съ иноземцами. Должно замѣтить, что это послѣднее обстоятельство было однимъ изъ важнѣйшихъ дѣятелей въ созданіи богатырскихъ типовъ и ихъ подвиговъ. Фантазія въ богатыряхъ своихъ олицетворила борьбу лучшей части народа со всѣмъ злымъ, которымъ, по его понятіямъ, бываетъ полна всякая земля въ это время. Великаны имѣютъ съ змѣями и другими чудовищами были порожде-

ніемъ этого злаго на землѣ, а въ формы великановъ, какъ извѣстно, народъ облекалъ чужеземцевъ, нарушавшихъ покой его непосредственной жизни. Русскіе богатыри являются вовсе не защитниками новыхъ началъ въ борьбѣ съ старыми, какъ обыкновенно думаютъ; нѣтъ, они сами живутъ еще старинною, но только свѣтлою старивою; они очищаютъ ее отъ духа тьмы, ихъ эпоха—есть эпоха полнаго торжества человѣка и освобожденія его сознанія изъ подъ гнета грубыхъ космическихъ силъ природы. Такимъ образомъ, русскіе богатыри—противъ своей воли—сдѣлались поборниками новыхъ началъ въ борьбѣ со старыми. Это вліяніе уже чисто историческое, позднѣйшее, и когда *испытующее созерцаніе* историка говоритъ о радости, такъ не впору осѣнившей русскій народъ тѣхъ временъ, радости, представителями которой являются богатыри: оно или не хочетъ вникнуть въ характеръ эпохи, или гордо переноситъ ощущенія *личной* радости на весь народъ [1]). Здѣсь мы встрѣчаемся съ противорѣчіемъ, которому нѣтъ и не можетъ быть выхода и соглашенія: новыя начала явились какъ противоположность чувственной, грубой старинѣ, они чуждались всего земнаго; а между тѣмъ ихъ защитники и рыцари отличаются глубоко-чувственнымъ характеромъ, избыткомъ матеріальной силы и часто грубыми, несмягченными нравами. Ихъ подвиги, дышащіе полнымъ разгуломъ язычества, оскорбили бы величіе самого дѣла, требовавшаго рукъ болѣе чистыхъ и непорочныхъ, противопоставлявшаго матеріальной силѣ—не матеріальную силу, а подвиги самоотверженія и глубокаго христіанскаго смиренія, подвиги чисто-духовные.

Если христіанство есть главная основа всего Владимирова міра, то какимъ образомъ согласить съ нимъ язычество, которое такъ ярко свѣтитъ въ характерѣ богатырей и русскихъ сказаній о нихъ, какимъ образомъ самъ Владиміръ является въ народной фантазіи какъ чистый язычникъ, еще не проникнутый свѣтомъ христіанскаго ученія? Или возродившееся язычество

1) См. указанную статью г. Аксакова, стр. 8.

заслонило христіанскій образъ Владимира, первоначально существовавшій въ народной фантазіи? Но на такое неосновательное предположеніе едва ли согласится и г. Аксаковъ. Какимъ образомъ попечительные пастыри наши употребляли такія немощныя усилія искоренить язычество и своею честною кровью свидѣтельствовали чистоту своихъ убѣжденій, когда уже въ самый вѣкъ введенія христіанской вѣры народъ съ такою радостію оставлялъ все старое и проникался новымъ ученіемъ? Мысль несбыточная и невѣрная! Она противорѣчитъ историческимъ фактамъ и естественному развитію всякаго ученія, тѣмъ болѣе такого высоко-нравственнаго ученія, каково ученіе христіанское, къ принятію котораго были такъ мало приготовлены русскія племена, погруженныя въ поклоненіе темнымъ силамъ природы и стихійнымъ явленіямъ! Притомъ, отказаться отъ старины—не такъ легко, какъ обыкновенно думаютъ: она противъ нашей воли прорвется въ нашихъ дѣйствіяхъ, невѣдомо и негаданно явится тамъ, гдѣ ее и ожидать нельзя; отъ нея намъ трудно освободиться даже и теперь, когда мы, вотъ уже скоро два вѣка, пользуемся плодами европейской цивилизаціи, когда мы пережили многое и сознали несостоятельность многаго; что же было тогда, въ эпоху пробужденія перваго сознанія, когда настоящее народа вполнѣ зависѣло отъ прошедшаго, когда онъ жилъ, можно сказать, тѣмъ матеріаломъ, который заготовилъ себѣ еще прежде? Все это хорошо извѣстно г. Аксакову — и, несмотря на это, онъ не задумался принести историческіе факты въ жертву своей псевдо-исторической мысли, сложившейся подъ вліяніемъ какого-то внутренняго наитія... Оттого въ статьѣ его, при всей ея занимательности, встрѣчаются многія мысли, какъ кажется, несообразныя съ существомъ и характеромъ предмета, о которомъ онъ говоритъ. Такъ напримѣръ, онъ оправдываетъ казнь Добрыни надъ Мариною обычаемъ всѣхъ богатырей того времени, говоритъ объ отсутствіи аристократическаго права породы между богатырями, и вообще очень тонко изслѣдуетъ всю психологическую сторону характера русскихъ богатырей, тогда какъ одинъ взглядъ на эту эпоху глу-

бокой древности, эпоху вполнѣ миѳическую, дѣлаетъ излишними, если не вредными, подобныя историко-психологическія толкованія и оправданія. Приписывать сказанію, сагѣ историческую истину такъ же несправедливо и несообразно съ требованіями исторической науки, какъ и вносить въ достовѣрную исторію созданія народной фантазіи и воображенія. Эпоха миѳическая есть разсвѣтъ исторіи народа, но еще не исторія: въ ней нѣтъ событій, нѣтъ опредѣленнаго времени и пространства для нихъ, здѣсь мы находимъ образы, сложившіеся неизвѣстно когда и какъ. Смотрѣть на это время должно другими глазами, мѣрить его иною мѣрою, отличною отъ обыкновенно употребляемой въ исторической критикѣ. Историческій анализъ поможетъ намъ отдѣлить позднѣйшіе наросты, но мало окажетъ помощи въ стремленіи постигнуть духъ старины и проникнуть въ ея сокровенные тайники; они останутся непонятными до тѣхъ поръ, пока вы не низойдете до самаго свѣжаго родника, хранилища старинныхъ вѣрованій и откровеній — родного языка; до тѣхъ поръ, пока вы сближеніями съ родственною доисторическою стариною прочихъ индо-европейскихъ народовъ—не научитесь понимать и цѣнить надлежащимъ образомъ свои собственныя сокровища.

Сказанія о русскихъ богатыряхъ создались не вдругъ и не въ эпоху Владимира Святого: они были плодомъ всей предыдущей жизни народа, лебединою пѣснью, если можно такъ выразиться, народнаго творчества, еще питавшагося соками старинаго преданія. Отдѣлите въ нихъ все случайное, привнесенное послѣдующими вѣками и образовавшееся подъ вліяніемъ историческихъ обстоятельствъ,—и вы поймете ихъ настоящій характеръ, вы встрѣтитесь лицомъ къ лицу съ глубокою стариною, еще не успѣвшею обособиться и получить русскій народный характеръ, стариною общею всему Индо-Европейскому племени.

Такимъ образомъ, чтобы понять природу русскихъ богатырей, нужно отдѣлить новое отъ стараго и дать каждому свое особое приличное мѣсто; такое разграниченіе необходимо уже и потому, что безъ него мы смѣшаемъ самые разнородные пред-

меты, и богатыри потеряютъ для насъ то живое значеніе, какое они имѣли въ народѣ; они будутъ непонятными образами, игрою народной фантазіи безъ участія въ жизни, безъ вліянія на развитіе народнаго сознанія. А между тѣмъ эпоха полнаго развитія русскаго богатырства есть одна изъ важнѣйшихъ эпохъ духовной жизни русскаго народа. Она подготовлялась исподоволь и издалека и только при Владимирѣ получила полнѣйшее выраженіе и развитіе. Историческій Владиміръ, его дружина приняли миѳическіе образы, и рядомъ съ историческою жизнью народа шла своимъ чередомъ прежняя миѳическая жизнь народа со всѣми старинными своими отправленіями.

Дѣйствительность имѣла вліяніе на созданіе народнаго воображенія и въ свою очередь подчинялась его вліянію и часто принимала миѳическую окраску. Приведенные нами примѣры такого взаимнаго вліянія исторіи и сказанія какъ нельзя лучше подтверждаютъ мысль о томъ, что эпоха Владимира для народа была продолженіемъ старинной жизни, даже, позволю себѣ сказать, полнѣйшимъ ея довершеніемъ, предѣломъ, далѣе котораго въ своемъ развитіи она не шла, и подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ историческихъ обстоятельствъ начала снова возвращаться къ тѣмъ темнымъ временамъ грубаго подчиненія космическимъ силамъ природы, освобожденіе отъ которыхъ она такъ радостно отпраздновала въ лицѣ своихъ богатырей.

Слѣдовательно, отыскивать строго историческіе корни и причины сказаній о богатыряхъ и ихъ подвигахъ — значитъ противорѣчить характеру эпохи, въ которую слагался ихъ образъ, эпохѣ миѳической, жизнью которой народъ жилъ еще во времена Владимира, когда его богатыри получили полные опредѣленные образы и очертанія.

Но возникаетъ еще одинъ любопытный вопросъ: какъ и по какимъ причинамъ центромъ русскихъ богатырей является сказочный Владиміръ? Подобно валлійскому Артуру, за *круглымъ столомъ* котораго собираются рыцари и герои, составляющіе его свиту, въ теремѣ князя Владимира за такимъ же *круглымъ* сто-

ломъ собираются братья, *названные* русскіе могучіе богатыри. Они ѣдятъ, пьютъ, прохлаждаются и развлекаютъ свое *красное солнышко*. Онъ (опять сходно съ королемъ Артуромъ) выдумываетъ разныя игры, даетъ порученія своимъ богатырямъ настрѣлять ему гусей къ обѣду, *лебедей*, сѣрыхъ уточекъ, женитъ ихъ и вообще является душою всего этого общества, его средоточіемъ.

Изслѣдователи, принимающіе историческое объясненіе происхожденія русскихъ богатырей и сказаній о нихъ (нѣмецъ Больтцъ [1]), а за нимъ г. Аксаковъ), приписываютъ это обстоятельство вліянію новыхъ началъ, представителемъ которыхъ явился впослѣдствіи историческій князь Владиміръ; но такое объясненіе противорѣчитъ характеру послѣдующаго развитія и распространенія новыхъ началъ на Руси, и самому историческому факту того времени. Въ лицѣ сказочнаго Владиміра, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, мы не находимъ *ни одной* черты, которая бы напоминала или указывала въ немъ представителя новыхъ началъ. Въ противоположность рѣзкимъ типамъ своихъ богатырей, онъ лицо безцвѣтное, безхарактерное, которому и въ голову не приходятъ тѣ интересы, о которыхъ онъ, какъ историческій дѣятель, заботился впослѣдствіи. Въ этомъ отношеніи онъ немного сходенъ съ Валлійскимъ Артуромъ, который также, сидя на креслѣ, дремлетъ въ бездѣйствіи и рѣдко принимаетъ участіе въ подвигахъ своихъ героевъ. Но посмотрите на Карла Великаго, другого героя-государя. Какъ рѣзко отличается онъ отъ язычниковъ Владиміра и Артура! [2]). Это уже христіанскій циклъ сказаній или древній, но измѣнившійся подъ вліяніемъ христіанскихъ понятій. Историческіе подвиги и предпріятія Карла Великаго имѣли сильное вліяніе на образованіе сказаній о немъ. Онъ

---

1) Bolte, Ueber das Altrussische Heldenlied. 1884. Стр. 9—10.

2) Впрочемъ, Артуръ еще иногда является съ оттѣнкомъ христіанскаго вліянія; у Владиміра же, какимъ мы видимъ его въ пѣсняхъ, о христіанствѣ нѣтъ и помину.

герой вполнѣ христіанскій, и первое мѣсто въ его интересахъ принадлежитъ христіанству, къ распространенію котораго направлены всѣ дѣйствія и подвиги его самого и рыцарей его блестящаго двора. Оттого, можетъ быть, такъ высокъ его образъ и такъ славны его личные подвиги, память о которыхъ передаютъ намъ многія сказанія.

Нужно искать другой причины такого концентрированія русскихъ богатырей вокругъ стола Владимира.

Мы полагаемъ, что это должно приписать двумъ обстоятельствамъ, изъ которыхъ одно было туземное, другое принадлежало обычаямъ тѣхъ племенъ, откуда пришли первые князья.

Съ появленіемъ русскихъ племенъ на сцену исторіи, языческія вѣрованія продолжали свое развитіе, съ ними вмѣстѣ развивался и народный историческій эпосъ, образы богатырей получили опредѣленныя человѣческія формы, ихъ подготовило историческое преданіе, часто очень древнее, и миѳологія, достигшая уже степени антропоморфизма. Старинныя сказанія о богатыряхъ получили свой окончательный видъ въ самую эпоху введенія христіанства, хотя и независимо отъ него, и народъ,—позволимъ себѣ сдѣлать предположеніе,—соединилъ своихъ богатырей около Владимира только потому, что видѣлъ въ немъ представителя дружины, который, по сказанію лѣтописи, пиры *творяше людямъ своимъ по вся недѣли*. Но это предположеніе наводитъ насъ на мысль о дружинѣ, постоянно встрѣчающейся въ нашихъ богатырскихъ пѣсняхъ. Самъ богатырь есть по преимуществу дружинникъ и немыслимъ безъ подвиговъ безъ дружины. Русское сказаніе свои представленія связало съ историческимъ фактомъ, дружину богатырей съ дружиною князя Владаміра. Это первое историческое вліяніе, какое испытали образы нашихъ могучихъ богатырей.

Приведемъ слова перваго знатока народной поэзіи: «Народное сказаніе любитъ, чтобы съ нимъ обращались дѣвственными руками; кто неосторожно и непочтительно касается его, предъ тѣмъ оно не раскроетъ своихъ страницъ и не повѣетъ на него

своимъ завѣтнымъ благоуханіемъ. Въ сказаніи кроется такой богатый родникъ развитія и цвѣта, что достаточно съ нимъ и не вполнѣ познакомиться, но только въ его природной красотѣ, чтобы быть вполнѣ удовлетворену.

«Всякая посторонняя примѣсь портитъ и безобразитъ его. Тотъ, кто захочетъ въ народное сказаніе внести что нибудь чужое, долженъ проникнуться свѣжею невинностію народной поэзіи и глубоко вникнуть въ тайны языка, чтобы создать для него слово (рѣчь) и не выдать своего подлога»[1]).

Одинъ изъ даровитѣйшихъ современныхъ писателей слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ человѣческую природу въ отношеніи ко всему окружающему: «Человѣкъ — величайшее чудо изъ всѣхъ чудесъ, великое, неизслѣдимое таинство божества! Мы не можемъ понимать этого, не знаемъ какъ говорить объ этомъ; но мы можемъ, если захотимъ, чувствовать и знать, что это дѣйствительно такъ. Всѣ эти истины нѣкогда лучше чувствовались, нежели теперь. Юныя племена міра, — свѣжія и простодушныя какъ дѣти, — и вмѣстѣ съ тѣмъ уже глубокіе и серьозные люди, не воображали себѣ, что давая всему ученыя названія, они уже уразумѣли все и въ небѣ и на землѣ. Нѣтъ! юныя племена пристально и долго, съ ужасомъ и удивленіемъ всматривались во все; они живѣе чувствовали, что̀ есть божественнаго въ человѣкѣ и природѣ, они могли поклоняться природѣ, и человѣку болѣе, нежели чему другому въ природѣ. Я смотрю на поклоненіе героямъ, какъ на великій отличительный элементъ въ этомъ древнемъ воззрѣніи — и то, что̀ называлъ я въ язычествѣ разнообразіемъ, вышло изъ множества различныхъ источниковъ, изъ всякаго рода удивленія — удивленія звѣздѣ и другимъ предметамъ природы. Но поклоненіе героямъ было самымъ главнымъ кор-

1) Grimm's Deutsche Mythologie. Vorrede.

немъ всего этого, самымъ подземнымъ корнемъ, изъ котораго всѣ другіе получаютъ себѣ питаніе и растительность. Если поклоненіе какой-нибудь звѣздѣ имѣло въ себѣ смыслъ, то не гораздо ли большій смыслъ должно было имѣть поклоненіе герою, безграничное удивленіе великому человѣку»[1]).

Вдохновенное созерцаніе поэта-историка, нѣтъ сомнѣнія, заводитъ его слишкомъ далеко, когда онъ, въ порывѣ безграничнаго удивленія великимъ людямъ, видитъ во всей исторіи человѣчества только исторію героевъ, великихъ людей, и низводитъ народъ на степень страдательнаго начала, какихъ-то слѣпыхъ силъ, которыми двигаютъ избранники, великіе люди; но въ главномъ его слова какъ нельзя лучше объясняютъ намъ сущность героическаго періода русской жизни и его богатырей. Въ самомъ дѣлѣ, не то ли же безграничное удивленіе и поклоненіе человѣческой сущности олицетворила фантазія русскаго народа въ своихъ богатыряхъ, и не было ли созданіе ихъ торжествомъ человѣка надъ грубою природою — однимъ изъ важнѣйшихъ моментовъ нравственной и духовной жизни народа? Долгій и трудный путь предстояло пройти сознанію народа, пока оно достигло этого радостнаго момента. Чувство зависимости, первая причина языческой религіи, особенно сильно сказалось въ отношеніяхъ народа-младенца къ природѣ. Тѣ явленія ея, условіямъ и вліянію которыхъ подлежалъ человѣкъ, предъ которыми онъ чувствовалъ свое безсиліе, были первыми предметами его поклоненія, и чѣмъ непостижимѣе и страшнѣе сила ихъ, тѣмъ болѣе чувства тяжелой зависимости въ его первоначальныхъ языческихъ вѣрованіяхъ, тѣмъ безотраднѣе и мрачнѣе они. Оттого на первой ступени народной жизни находимъ мы подчиненіе космическимъ силамъ природы; оттого на ряду съ свѣтлыми образами находимъ мы темныя представленія о зломъ, губительномъ началѣ, которое ведетъ постоянную борьбу съ добрыми, благодѣтельными

1) См. Th. Karlyle, Ueber Helden, Heldenverehrung und das Heldenthümliche in der Geschichte. Deutsch von Neuberg. Berl. 1853, стр. 19.

божествами. Все развитіе народной миѳологіи заключается въ постепенномъ освобожденіи сознанія изъ-подъ тяжелаго, сковывающаго гнета темныхъ космическихъ силъ природы: свѣтлые образы мало по малу выясняются и получаютъ опредѣленный видъ. Здѣсь мы не встрѣчаемъ уже того безотраднаго чувства, которое охватываетъ язычника, заставляя его преклоняться предъ губительною, грозящею силою: онъ не боготворитъ ее, какъ прежде, не приноситъ ей умилостивительной жертвы, не возсылаетъ моленія, а обращается къ своимъ свѣтлымъ, добродѣющимъ богамъ и отъ нихъ ждетъ защиты отъ зла и покровительства. Это одинъ изъ важнѣйшихъ моментовъ въ исторіи развитія языческихъ вѣрованій. Народъ придаетъ своимъ добрымъ богамъ человѣческія свойства и качества, и такимъ образомъ прежнему темному поклоненію противопоставляетъ поклоненіе своей собственной сущности. Небожители мало по малу низводятся на землю и сближаются съ людьми, и вслѣдъ за ними герои или богатыри, какъ посредники между небомъ и землею.

Созданіемъ богатырей, героевъ, народная миѳологія достигаетъ высшаго своего развитія. Человѣческая сущность вступаетъ въ свои права и въ лицѣ героя празднуетъ свою побѣду надъ темными враждебными силами природы.

Такъ понимаемъ мы сущность героизма и таково, по нашему мнѣнію, значеніе богатырей въ исторіи народовъ.

Что такое герой, или богатырь? Нѣчто среднее между богами и человѣкомъ. Чѣмъ древнѣе эпосъ, тѣмъ необходимѣе присутствіе въ немъ боговъ. Сущность героизма состоитъ въ борьбѣ и побѣдѣ: герой или богатырь, существо, которое борется со зломъ, совершаетъ безсмертныя дѣла и достигаетъ до божеской чести. Въ богатырѣ преобладаетъ человѣческое. Герой подверженъ страданіямъ, ранамъ и смерти, отъ которыхъ, по представленіямъ старины, не были свободны даже боги. Въ героѣ человѣкъ дѣлается полубогомъ. Происхожденіе богатыря и героя,—въ отличіе отъ другихъ демоническихъ существъ, наполняющихъ пропасть между богами и человѣкомъ,— есть

вполнѣ человѣческое: германскій Сигфридъ, нашъ Илья Муромецъ и др. происходятъ отъ обыкновенныхъ людей, и только немногіе изъ нихъ, какъ валлійскій Мерлинъ, нашъ Волхъ Всеславьевичъ, имѣютъ отчасти демоническое происхожденіе, и оттого природа ихъ такъ рѣзко отлична отъ природы другихъ богатырей-человѣковъ. Они принадлежатъ къ древнѣйшимъ богатырскимъ типамъ и ведутъ свое происхожденіе или отъ миѳическаго змѣя, состоявшаго въ связяхъ съ обыкновенными смертными (Волхъ Всеславьевичъ), или отъ какого другого демоническаго существа (Мерлинъ).

Рожденіе богатыря ознаменовывается необычайными явленіями: вѣщіе орлы пѣли, и шумно стремились съ горъ ручьи священной воды, когда родился скандинавскій герой Гельги, подобно тому, какъ при рожденіи Волха Всеславьевича «подрожала сыра земля, сотряслося славно царство индѣйское, а и синее море сколебалося для ради рожденія богатырскаго молода Волха Всеславьевича: рыба пошла въ морскую глубину, птица полетѣла высоко въ небеса, туры да олени за горы пошли, зайцы, лисицы по чащицамъ, а волки, медвѣди по ельникамъ, соболи, куницы по островамъ». Иные богатыри, возрастая не по днямъ, а по часамъ, съ раннихъ лѣтъ дѣтства начинаютъ оказывать свою нечеловѣческую силу: братъ Бальдера — Вали, едва рожденный, неумытый и нечесанный, подымается на месть за смерть брата своего; шведскія пѣсни разсказываютъ о женщинѣ, которая послѣ долгой беременности родила двухъ близнецовъ: одинъ изъ нихъ чешетъ свои золотыя кудри, другой добываетъ мечъ и оба отправляются на скорую месть. Такъ Волхъ Всеславьевичъ черезъ полтора часа по рожденіи говоритъ, какъ громъ гремитъ, и проситъ свою сударыню матушку спеленать его въ крѣпки латы булатные, а на буйну голову положить золотой шеломъ, по праву руку палицу, а и тяжку палицу свинцовую вѣсомъ въ триста пудъ. Мотивъ такого быстраго возрастанія богатырской силы отзывается глубокою древностію и прямо роднитъ богатыря съ богами, которые, какъ Меркурій, Аполлонъ, самъ

Зевсъ, — разомъ переступали предѣлы естественнаго человѣческаго возрастанія, назначенные природою. Народная фантазія перенесла аттрибуты божества на своихъ героевъ, указывая тѣмъ ихъ высшую природу. Къ сожалѣнію, время и обстоятельства почти не сохранили такихъ древнихъ богатырскихъ типовъ, и кромѣ указаннаго Волха, развѣ еще сынъ царя Саула Леванидовича нѣкоторымъ образомъ можетъ дать понятіе о природѣ подобнаго богатырскаго образа; но на немъ уже замѣтно вліяніе чисто сказочныхъ началъ... Другіе богатыри, подобно могучимъ столѣтнимъ дубамъ, растутъ туго, но прочно. Нашъ Илья Муромецъ сидѣлъ сидемъ ровно тридцать лѣтъ, не владѣя ни руками, ни ногами. Приходятъ къ нему калики перехожіе и просятъ у него напиться. Илья въ первый разъ въ жизни встаетъ и приноситъ имъ по великой братинѣ пива и вина крѣпкаго. «Выпей самъ», говорили калики перехожіе. Когда Илья выпилъ, они спросили его: «Слышишь ли, Илья, силу свою?» — «Слышу». — «Какъ велика твоя сила?» — «Кабы былъ столбъ отъ земли до неба, я перевернулъ бы всю землю». — «Много дано силы Ильѣ: земля не снесетъ. Поубавимъ силы!» Опять послали его за пивомъ, и еще дали ему выпить, и силы въ немъ поубавилось, кабы на семую часть. — «Будетъ съ него!» сказали калики. Въ такомъ же бездѣйствіи долгое время оставался и скандинавскій герой Гельги; онъ былъ нѣмъ и безъ имени до тѣхъ поръ, пока валькирія Свава не развязала ему языка. Сообразно съ сущностію богатырей, героевъ, необходимо, чтобы юность ихъ обезображивалась какимъ нибудь недостаткомъ, отъ котораго они сразу освобождаются, и сила ихъ, до сихъ поръ сдерживаемая, удвояется. Замѣчательно, что эту непобѣдимую силу богатырь получаетъ отъ существъ миѳическихъ, каковы въ сказаніи объ Ильѣ — наши калики перехожіе, или въ пѣсняхъ Эдды о Гельги и Свавѣ — валькиріи. Одинъ датскій герой, испивъ изъ рога, даннаго ему эльфами, получаетъ силу двѣнадцати человѣкъ; подобные же мотивы можно найти и въ норвежскихъ сказкахъ, ими опредѣляется природа богатыря и героя, существенно отличная и отъ

боговъ, которые не требуютъ такого рукоположенія, какъ существа свободныя и всемогущія, и отъ обыкновенныхъ людей, лишенныхъ высокой божеской природы, и не вкусившихъ таинственнаго напитка [1]).

Не рожденные, а вырѣзанные изъ утробы матери дѣти дѣлаются богатырями, таковы: иранскій Рустемъ, по сказанію, сохранившемуся въ книгѣ царей у Фердоуси, Тристанъ, по старинному сказанію у Эйльгарда, шотландскій Макдуфъ и сынъ нашего Дуная Ивановича, который могъ бы быть въ семь семерицъ получше и поудалѣе своего батюшки, если бы далъ онъ ему еще сроку на три часа и не вырѣзалъ преждевременно изъ утробы матери [2]).

Видъ и образъ героевъ также отличны отъ обыкновенныхъ смертныхъ. Древнѣйшіе изъ нихъ имѣютъ способность превращаться въ звѣрей. Такъ нѣмецкіе Сигмундъ и Синфіотли, отецъ и сынъ, долгое время были волками и вели дикую, животную жизнь [3]); валлійскій Мерлинъ, чтобы помочь королю Артуру, долженъ былъ принимать различные образы: старика, карлика, даже оленя [4]). Волхъ Всеславьевичъ уже десять годовъ поучался ко премудростямъ: а и первой мудрости учился обертываться яснымъ соколомъ; ко другой-то мудрости учился обертываться сѣрымъ волкомъ; ко третей-то мудрости учился Волхъ обертываться гнѣдымъ туромъ — золотые рога [5]). Съ такими представленіями о превращеніяхъ тѣсно связаны многіе позднѣйшіе сказочные мотивы объ участіи животныхъ или птицъ въ предпріятіяхъ ге-

---

1) Русскія народныя сказки, Сахарова, стр. 65—7; Аоанасьева, вып. I, стр. 115—121; Буслаева, Эпическая поэзія, въ Отеч. Зап. 1851 г., № 7, стр. 24; Grimm's Deutsche Mythologie, I, стр. 345; его же, Lieder d. alten Edda, 1815, стр. 31 и слѣд.

2) Grimm's Deutsche Mythologie, I, 361. Не знаемъ, на какомъ основаніи Як. Гриммъ относитъ нашего Добрыню Никитича къ числу героевъ, вырѣзанныхъ изъ утробы. См. Русская Бесѣда, кн. IV, ст. г. Аксакова, стр. 86.

3) W. Grimm, Deutsche Heldensage, 1829, стр. 337.

4) Villemarqué, Contes populaires des anciens Bretons, стр. 44.

5) Кирша Даниловъ, стр. 47.

роевъ. Начало ихъ восходитъ ко временамъ глубокой древности, когда чувство младенчествующаго народа придавало животнымъ особенное значеніе, едва ли не равное своей собственной, человѣческой природѣ. Здѣсь кроется первая причина миѳическихъ сказаній о превращеніяхъ людей въ животныхъ, сказаній, распространенныхъ у всѣхъ народовъ, и сюда же относятся древнѣйшія саги о томъ, что звѣри и птицы вскармливаютъ оставленныхъ на произволъ судьбы героевъ.

Кромѣ того, самый человѣческій видъ героевъ отличенъ отъ обыкновенныхъ людей: ихъ сверхъестественная, высокая природа свѣтитъ изъ глазъ, какъ у скандинавскаго Сигурда или у нашего Чурилы Пленковича [1]). Вырѣзанный изъ утробы жены Дуная — сынъ ихъ имѣлъ по колѣна ноги въ золотѣ, по локоть руки въ серебрѣ, во лбу у него *солнце красное*, на затылкѣ свѣтелъ мѣсяцъ, по косицамъ часты звѣзды [2]), а въ сказкахъ романскихъ народовъ и нѣмцевъ мы находимъ много дѣтей, рожденныхъ съ звѣздою на челѣ, что̀ имѣетъ тѣсную связь съ миѳическими представленіями, по которымъ чело существа сверхъестественнаго, героя (какъ Сервія Туллія) или божества (какъ Аполлона), окружалось лучами свѣта, знаменующими ихъ высокую природу [3]). Русскіе богатыри съ теченіемъ времени постепенно теряли тотъ необыкновенный видъ, какой они имѣли въ началѣ; только нѣкоторые изъ нихъ — и то не вполнѣ — удержали черты сверхъестественнаго происхожденія и образа, остальные сблизились съ простыми смертными, приняли ихъ образы и отличаются отъ нихъ только своею силою да подвигами, безъ чего они пришли бы въ окончательное забвеніе у народа и утратили бы свою живую оригинальную физіономію.

Одна изъ необходимыхъ принадлежностей богатыря есть его *вѣщій конь*, съ которымъ онъ совѣтуется и ведетъ бесѣду. Язы-

---

1) Памятники великорусскаго нарѣчія. 1855, стр. 8.
2) Тамъ же, стр. 78.
3) Grimm's Deutsche Mythologie, I, стр. 364.

ческая миѳологія видѣла въ конѣ нѣчто священное и придавала ему сознаніе и участіе въ судьбахъ человѣка. Для богатыря конь — вѣрный товарищъ его подвиговъ, его лучшій другъ и хранитель. Въ затруднительныхъ случаяхъ жизни богатыря ему помогаетъ конь его, предостерегаетъ отъ бѣды, извѣщаетъ о случившемся. Такія черты во множествѣ встрѣчаются въ сказаніяхъ у всѣхъ индоевропейскихъ племенъ: довольно вспомнить Ахиллова коня Ксанѳа, Сигурдова коня — Грани, съ которымъ разговариваетъ Гудруна по смерти своего мужа, Шарада — коня сербскаго королевича Марка, и коней нашихъ богатырей — Добрыни Никитича, извѣщающаго, что его жена, не дождавшись назначеннаго срока, идетъ замужъ за Алешу Поповича, и добраго коня-бурочка Ивана Гостинаго сына, выручившаго изъ бѣды своего хозяина [1]). Въ сказкахъ, представляющихъ во многихъ случаяхъ позднѣйшій видъ нашихъ богатырскихъ былинъ, мы встрѣчаемъ коня, постояннаго помощника сказочнаго героя.

Такимъ образомъ многія черты русскихъ богатырскихъ сказаній своею старинною восходятъ къ далекимъ временамъ доисторическаго сродства народовъ, и если бы русскій богатырскій эпосъ возникъ во времена позднѣйшія, подъ вліяніемъ новыхъ началъ, постепенно входившихъ въ русскую жизнь со времени князя Владимира, то такое поразительное соотвѣтствіе эпическихъ мотивовъ имѣло бы видъ пустой игры случая, а самъ эпосъ, рожденный помимо вѣковыхъ интересовъ народа, утратилъ бы все свое жизненное значеніе и явился бы праздным созданіемъ воображенія.

Мы провели параллель между нѣкоторыми старинными чертами нашихъ богатырей и героевъ другихъ индоевропейскихъ племенъ, и наша мысль о глубокой древности русскаго историческаго эпоса получила нѣкоторое оправданіе въ указанномъ со-

1) Кирша Даниловъ, Др. Рос. Стих., стр. 57—59; Русская Бесѣда, кн. IV, ст. г. Аксакова, стр. 21.

отвѣтствіи героическихъ типовъ; но этимъ еще не исчерпываются тѣ важныя причины, на основаніи которыхъ мы рѣшились дать нашимъ богатырямъ значеніе миѳологическое и ихъ явленіе отнести къ одному изъ важнѣйшихъ моментовъ развитія народной жизни и сознанія въ эпоху до-историческую. Мы позволимъ себѣ войти еще въ нѣкоторыя частныя сближенія. Много сидитъ богатырей нашихъ въ терему у великаго князя Владимира. На богатырской скамьѣ сидитъ и Ставръ, богатый бояринъ, и Алеша Поповичъ, и Иванъ Гостинный сынъ, и Добрыня Никитичъ, и наконецъ Илья Муромецъ. Дворъ князя Владиміра всегда открытъ: на дворѣ его княженецкомъ врыты дубовые столбы, въ столбы ввернуты булатныя кольца. Пріѣзжаетъ богатырь, привязываетъ ретиваго коня къ булатному кольцу, потомъ идетъ въ свѣтлую гридню, кланяется князю со княгинею и на всѣ четыре стороны. Великій князь спрашиваетъ богатыря о родѣ и племени, велитъ поднести или самъ подноситъ турій рогъ меду сладкаго. Богатырь выпиваетъ, садится на богатырскую скамью и пируетъ. Среди пированія, въ тотъ часъ, какъ будетъ день въ половину дня, будетъ пиръ въ полупирѣ, Владимиръ князь распотѣшится, ходитъ по своей гриднѣ, расчесываетъ черныя кудри и предлагаетъ подвиги богатырямъ. Одинъ изъ нихъ вызывается, выпиваетъ подносимую чашу, и тогда разгоралася его утроба богатырская и могучія плечи расходилися. Богатырь ѣдетъ въ дальній путь на трудный подвигъ и прославляетъ вновь свою богатырскую силу [1]). Таковъ общій очеркъ русской богатырской эпопеи. Сказочный князь Владиміръ-Красное Солнышко является средоточіемъ, центромъ всѣхъ богатырскихъ типовъ. Такой мотивъ, почти необъяснимый съ точки зрѣнія исторической, признающей родовую общину народною и политическою формой жизни русскихъ племенъ того вре-

1) Мы излагаемъ этотъ общій очеркъ русской эпопеи словами г. Аксакова (стр. 7—8) съ немногими измѣненіями и опущеніемъ того, что, по нашему мнѣнію, противорѣчитъ характеру древнѣйшаго эпоса или вовсе не относится къ дѣлу.

мени, находитъ удовлетворительное разрѣшеніе въ сближеніи съ типами героевъ другихъ племенъ. Не говоря уже о Карлѣ Великомъ, христіанскомъ героѣ, государѣ цѣлаго цикла средневѣковыхъ сказаній, образовавшихся уже подъ видимымъ вліяніемъ историческихъ событій, мы укажемъ на другихъ. Какъ въ теремахъ у ласковаго князя Владимира бывало пированье, почетный пиръ, столованье, почетный столъ на многихъ князей, бояръ, могучихъ богатырей, такъ въ великолѣпныхъ палатахъ у датскаго короля Гродгара пировала дружина его ежедневно, при громкомъ и веселомъ шумѣ гостей, или же внимала пѣснямъ пѣвца, и только къ вечеру уходилъ король съ королевою, а витязи оставались и проводили ночь въ спокойномъ снѣ. Эти витязи повсюду сопутствовали королю, и онъ раздавалъ имъ сокровища, гривны и кольца, оружіе и коней [1]). Такъ же и валлійскій король Артуръ живетъ въ своемъ столномъ городѣ Керлеонѣ на Ускѣ, вокругъ него собираются доблестные рыцари: они составляютъ его дворъ и блестящую свиту, участвуютъ въ его пиршествахъ и сидя за *круглымъ* столомъ, разсказываютъ о своихъ похожденіяхъ и подвигахъ. Какъ средоточіе рыцарскаго общества, первый между ними, Артуръ, отличается высокими царственными и рыцарскими добродѣтелями. «Для своихъ рыцарей, говоритъ норманскій труверъ XII вѣка Васъ, Артуръ создалъ воинскій уставъ *круглаго стола*, о которомъ въ народѣ ходятъ многія сказанія. Всѣ пирующіе за нимъ были равны, какова бы ни была ихъ должность и званіе, всѣмъ одинаково прислуживали и подносили кушанья, и никто не могъ похвастать, что занимаетъ мѣсто позатитѣй своего сосѣда: между ними не было ни перваго, ни послѣдняго.... Всѣ, искавшіе славы, приходили ко двору Артура со всѣхъ сторонъ» [2]). Какъ доблестный

1) Pfeiffer, Germania, Vierteljahrschrift, 1856, кн. 4, ст. Бутервека о Беовульфѣ, и русское изложеніе этой поэмы, г. Буслаева, Русск. Вѣст., № 5-й, 1857.

2) Villemarqué, Contes populaires des anciens Bretons, I, стр. 13—14, 233—234.

рыцарь, Артуръ участвуетъ во многихъ походахъ и сраженіяхъ и личными подвигами оправдываетъ любовь къ нему народа и богатырей. Къ сожалѣнію, такихъ свѣтлыхъ типовъ, каковы Гродгаръ и Артуръ, не сохранили русскія богатырскія сказанія, предоставленныя узкому развитію исключительной національности, отчужденной отъ общечеловѣческихъ интересовъ, и личность нашего сказочнаго Краснаго-Солнышка походитъ на типы героевъ другихъ народовъ лишь своими наклонностями къ пиршествамъ, за которыми скрылись всѣ другія его качества... Тѣмъ не менѣе, замѣчательна эта аналогія въ сказаніяхъ разныхъ племенъ и народовъ: она приводитъ къ мысли о существованіи этихъ образовъ въ эпоху до-историческую, когда, можетъ быть, индоевропейское племя не распадалось еще на отдѣльные народы... Имѣли ли эти царственные типы происхожденіе реальное, историческое, или были только отраженіемъ народнаго взгляда на міръ и гражданскія отношенія, взгляда религіозно-поэтическаго, фиктивнаго — вопросъ иной, отвѣчать на который еще не можетъ современная наука; по крайней мѣрѣ, отсюда мы можемъ извлечь тотъ положительный результатъ, что типъ сказочнаго Владимира долженъ быть возведенъ ко временамъ отдаленнымъ, и что если онъ является съ именемъ этого извѣстнаго князя, то это было дѣломъ случая и особыхъ историческихъ обстоятельствъ, можетъ быть, тѣхъ самыхъ, о которыхъ мы говорили въ первой статьѣ. Такъ или иначе, но только Владиміръ-Красное Солнышко нисколько не противорѣчитъ нашему мнѣнію о до-историческомъ происхожденіи русскихъ богатырскихъ сказаній и миѳологическомъ значеніи нашихъ богатырей. Типъ сказочнаго Владимира до того лишенъ всякихъ яркихъ индивидуальныхъ красокъ, что его можно отнести къ любому времени и народу, и русская природа въ немъ сказывается развѣ только тѣмъ, что онъ, распотѣшившись, «ѣстъ, пьетъ, прохлаждается и ничьихъ челобитныхъ не слушаетъ»; но это уже черты *историческія*...

Сущность героизма, сказали мы прежде, состоитъ въ борьбѣ и побѣдѣ. Герой, или богатырь, одаренъ громадною силою, и

онъ направляетъ ее противъ существъ сверхъестественныхъ, олицетворившихъ въ себѣ темныя, губительныя природныя силы. Народная фантазія потому то и придала своимъ героямъ высокія качества и поставила ихъ посредниками между небомъ и землею, чтобы они могли достойно низложить нечистую силу и разогнать тьму, одѣвавшую народное сознаніе. Для побѣды надъ сверхъестественнымъ необходимо существо сверхъестественное: обыкновенные смертные изнемогутъ въ борьбѣ неровной, падутъ подъ гнетомъ губительной космической силы, которую народная фантазія представляла себѣ не иначе, какъ въ образѣ злаго демоническаго существа.—Побѣда свѣта надъ тьмою, благодѣтельнаго, животворящаго добра надъ губительнымъ зломъ уже совершилась на языческомъ Олимпѣ: небожители изгнали оттуда темную силу, она укрылась въ мрачные лѣса, дикія ущелья горъ, болота, и продолжаетъ вредить мирнымъ жителямъ земли. На освобожденіе отъ нея народная фантазія вызываетъ богатыря, человѣка необыкновеннаго, природа котораго отмѣчена высшими чертами. Въ этомъ существѣ, выросшемъ среди насъ, воспитавшемся въ нашемъ обществѣ и нашихъ интересахъ, народная фантазія олицетворила свою собственную сущность или, лучше сказать, возвратила ей человѣческія права, до того подавляемыя и подчиненныя смутному поклоненію темнымъ явленіямъ природы, признала превосходство человѣка надъ неразумною природою. Такъ какъ народное сознаніе поражалось матеріальною, физическою стороною природныхъ явленій и приписывало вредъ ихъ вліянію физической силы злыхъ демоническихъ существъ, то понятно, почему богатыри являются апоѳеозою грубой физической силы: губительному насилію они противопоставляютъ такое же насиліе. Вообще въ кругъ понятій того времени, еще не распавшихся на отдѣльныя силы и направленія, не входило вліяніе нравственное: оно предполагаетъ значительное отвлеченіе и является въ народной жизни гораздо позже, какъ слѣдствіе новыхъ началъ; но въ ту пору человѣкъ и народъ жили цѣльною, непосредственною жизнью; вліяніе природы фи-

зической имѣло вмѣстѣ съ тѣмъ на него и вліяніе нравственное: вотъ почему тотъ глубоко ошибся бы, кто въ нашихъ богатыряхъ видѣлъ бы одно воплощеніе грубой матеріальной силы и не обратилъ бы вниманія на глубокій психологическій и историческій фактъ, лежащій въ основаніи богатырскихъ типовъ.

Наши богатыри, изъ которыхъ трое: Добрыня Никитичъ, Илья Муромецъ и Алеша Поповичъ, наиболѣе сохранили черты древности, борются, одерживаютъ побѣду надъ злыми демоническими существами, каковы: Змѣй Горынчище, Тугаринъ Змѣевичъ, баба Горынинка и др., прямо вводящими насъ въ эпоху языческую. Въ дѣтствѣ Добрыня ходилъ купаться на Израй-рѣку; тамъ унесъ его Змѣй Горынчище и хотѣлъ его огнемъ спалить и хоботомъ ушибить; но Добрыня убилъ Змѣя, зашелъ въ его пещеры бѣлокаменныя, нашелъ много злата, серебра, а его малыхъ дѣтушекъ всѣхъ прибилъ, пополамъ перервалъ и освободилъ свою любимую тетушку Марью Дивовну. Такой мотивъ, основанный на древнѣйшемъ миѳическомъ значеніи, какъ самого богатыря, такъ и *Змѣя* Горынчища, встрѣчается во многихъ сказаніяхъ индоевропейскихъ народовъ: англо-саксонская поэма IX вѣка о Беовульфѣ представляетъ намъ этого героя сначала въ борьбѣ съ чудовищемъ Гренделемъ и его матерью, обитающею въ морскихъ палатахъ, а потомъ и съ огненнымъ Змѣемъ-Горынычемъ (beorges weard, стражъ горы), стерегущимъ золотое сокровище, которое схоронилъ тамъ послѣдній изъ королевскаго рода Скильдовъ. Сходство англо-саксонскаго Беовульфа съ нашимъ миѳическимъ Добрынею простирается даже на нѣкоторыя частныя черты, указывающія въ сказаніи о Добрыни ясные слѣды *того же самаго преданія*, о которомъ повѣствуетъ англо-саксонская поэма. Такъ и Беовульфъ и Добрыня — отличные пловцы, одинъ совершаетъ свой подвигъ на морѣ, другой на Израй-рѣкѣ, оба вступаютъ въ борьбу съ чародѣйкою, съ соумышленницею нечистой силы и пріятельницею самого Змѣя, какою является мать Гренделя и наша Марина

Игнатьевна [1]). Освобожденіе женщины изъ рукъ нечистой силы или какого либо чудовища тоже принадлежитъ къ числу старинныхъ мотивовъ, которыми пользуются сказанія о герояхъ и богатыряхъ. Добрыня Никитичъ освобождаетъ свою тетушку Марью Дивовну [2]) изъ пещеры Змѣя Горынчища; а въ нѣмецкихъ сказаніяхъ Дитрихъ такимъ же образомъ освобождаетъ изъ рукъ карлика Гольдемара королевскую дочь Гертлину и женится на ней [3]). Впослѣдствіи этотъ мотивъ получилъ обширное распространеніе въ сказкахъ и хотя много потерпѣлъ отъ той свободы, съ какою обращались разсказчики съ матеріаломъ, но видимо сохранилъ на себѣ слѣды своего первичнаго эпическаго типа [4]). Отголосокъ его мы позволимъ себѣ видѣть также въ одной пѣснѣ про Алешу Поповича и сестру его, гдѣ первый, извѣщенный чернымъ ворономъ, освобождаетъ сестру свою отъ двухъ татаръ, которые, полонивъ ее, хотѣли увезти къ себѣ въ Орду и отдать за татарина: за дороднаго, за хорошаго — въ косу сажень [5]). Въ другихъ пѣсняхъ, гдѣ сохранилась память о Добрынѣ, онъ является съ тѣмъ же характеромъ героя миѳическихъ временъ, но съ замѣтнымъ оттѣнкомъ историческихъ и этнографическихъ условій: такъ въ состязаніяхъ съ татарами царя Батыя онъ стрѣлялъ въ чистое поле по дубу и стрѣла расшибла дубъ, залетѣла въ пещеру *бѣлокаменную, убила змѣя троеглавую;* другая пѣсня, записанная въ сборникѣ Кирши Данилова, говоритъ о томъ, какъ Добрыня, по просьбѣ Владимира князя, съѣздилъ въ дальны Орды немирныя и очистилъ дорогу

---

1) Pfeiffer, Germania, 1856, кн. IV, статья Бутеряева о Беовульфѣ. См. также Русск. Вѣст., № 5, ст. г. Буслаева о Древ. Россійск. стихотвор., стр. 61 и слѣд., 346—351.

2) Самое имя: *Дивовна* указываетъ на существо миѳологическое, см. г. Буслаева: Эпическая поэзія, ст. 1, стр. 20—2, Отечествен. Зап. 1851 г., № 7-8.

3) W. Grimm., Deutsche Heldensage, стр. 388.

4) См. Русскія народныя сказки, изд. Аѳанасьева, т. I, №№ 5, 14; т. II, №№ 21, 22, 24 и друг.

5) Памятники великороссійскаго нарѣчія, 1858, стр. 79—82. Сличи у Кирши Данилова пѣсню о Михайлѣ Казариновѣ, стр. 203—214.

прямоѣзжую до его тестя любимаго, грозна короля Эмануила Эмануиловича: *вырубилъ чудь бѣлоглазую, прекротилъ Сорочину долгополую, Черкесъ, Калмыковъ, Татаръ, Чюкчей всѣхъ и Алеутовъ*... Слѣдовательно, здѣсь грозная сила богатыря была направлена уже не противъ чудовищъ, змѣй и проч., а противъ народцевъ, сосѣдившихъ съ русскими племенами; но стоитъ только перенестись въ понятія эпохи, чтобы въ Чуди, Калмыкахъ, Татарахъ и другихъ скромныхъ иноплеменныхъ народцахъ увидѣть ту же нечистую силу, какая олицетворяется и въ змѣяхъ, бабахъ-горынинкахъ и т. д. Самыя названія вражескихъ народовъ остались въ языкѣ нарицательнымъ именемъ великана: такъ Шудь (Чудь), Оброъ (Польск. olbrzym, Лужицкое hobor), Сполинъ, или Исполинъ; Волотъ, или Велетъ — первоначально названія народовъ, потомъ получили общее значеніе великановъ[1]). Тотъ же самый процессъ народнаго мышленія заставилъ русскій народъ смотрѣть на враждебныя племена, которыя окружали его, какъ на фантастическія злыя существа, очищать отъ которыхъ русскую землю есть прямая обязанность богатыря, существа свѣтлаго, связаннаго тѣсными узами съ интересами своего племени. Вмѣсто чудовищныхъ исполиновъ, историческое происхожденіе которыхъ уже изгладилось изъ народной памяти, здѣсь мы встрѣчаемъ Татаръ, Чукчей, Козаръ и др. народцевъ, возведенныхъ народною фантазіею до сверхъестественныхъ, громадныхъ размѣровъ. Такъ Калинъ царь прислалъ къ князю Владимиру «Татарина выше всѣхъ, а мѣрою тотъ Татаринъ трехъ сажень, голова на Татаринѣ съ пивной котелъ, который котелъ сорока ведеръ; промежъ плечами косая сажень».

Главный подвигъ Алеши состоитъ въ убійствѣ Тугарина Змѣевича, существа миѳическаго, состоящаго въ родствѣ съ Змѣемъ. Это его единственный подвигъ и, можно сказать, един-

---

1) Ст. г. Аксакова, Рус. Бесѣда, т. IV, стр. 17—18; Grimm's Mythologie, стр. 700 и слѣд. См. также г. Буслаева, Эпическ. поэзія, ст. I, стр. 24—5, Отеч. Зап. 1851 г., № 7.

сѣвшая древняя черта во всемъ характерѣ этого героя; даже богатырская сила въ немъ уступаетъ мѣсто хитрости, посредствомъ которой онъ и одерживаетъ побѣду надъ Тугариномъ. Въ Ильѣ Муромцѣ старинное преданіе сохранилось свѣжѣе и чище: мы уже говорили о его юности, какъ онъ сидѣлъ сиднемъ ровно тридцать лѣтъ, не владѣя ни руками, ни ногами, и разомъ всталъ на богатырскіе подвиги. Онъ совершаетъ ихъ нѣсколько: избиваетъ силу невѣрную татарскаго царя Калина и силу Литовскую, облегавшую городъ Кидошъ; беретъ въ плѣнъ Соловья-разбойника и потомъ убиваетъ его, побѣждаетъ сильнаго богатыря Казарина, одна ископыть (подкова) коня котораго была величиною съ полпечи и т. д.

Съ такимъ характеромъ являются и герои другихъ индоевропейскихъ племенъ. Какъ Сигфридъ, такъ и Дитрихъ, сражаются съ змѣями, драконами, и убиваютъ ихъ. По народнымъ понятіямъ, вся земля была нѣкогда населена звѣрями и змѣями: проѣзжій витязь, пробираясь по дремучимъ лѣсамъ и толкучимъ горамъ, наѣзжалъ на стада звѣриныя и змѣиныя, на сѣрыхъ волковъ на рыскучихъ и на змѣй огненныхъ. Много физическихъ, естественныхъ бѣдствій приписано было народнымъ воображеніемъ этимъ нечистымъ существамъ: они насылали морозъ, засуху, болѣзни и всячески вредили человѣку. Преданіе о змѣяхъ, какъ хранителяхъ сокровищъ, существахъ злобныхъ, встрѣчается уже въ древнѣйшихъ памятникахъ народной поэзіи: пѣсни древней Эдды разсказываютъ намъ, какъ Сигурдъ убилъ змѣя Фафнира и овладѣлъ сокровищемъ, которое стерегъ онъ[1]). Нѣмецкіе драконы и норвежскіе *тролли* владѣютъ богатыми замками и сокровищами, похищаютъ женщинъ и пожираютъ людей. У Славянъ лютые миѳическіе змѣи живутъ въ горахъ: какъ чешскій богатырь Трутъ въ «Судѣ Любуши» убилъ лютаго змѣя въ горахъ Крѣконоши, такъ и Добрыня Никитичъ убилъ змѣя

1) Grimm's Lieder d. alten Edda, стр. 77 и слѣд.

Горынчища и бабу *Горынинку*, миѳическую хранительницу сокровища [1]).

Олицетворяя въ богатыряхъ доброе человѣческое начало, очищающее землю отъ всего злого, фантазія русскаго народа олицетворила въ нихъ и свою человѣческую личность, приблизила ихъ къ себѣ, дала имъ опредѣленную физіономію, тогда какъ злыя существа, какъ Тугаринъ Змѣевичъ, остаются на степени безразличнаго, чудовищнаго. Съ какою любовью народныя сказанія останавливаются на каждой чертѣ жизни и физіономіи богатыря, и какъ кратко, неопредѣленно говорятъ они о Тугаринѣ Змѣевичѣ и Соловьѣ Разбойникѣ, этомъ миѳическомъ существѣ, гнѣздо котораго раскинулось на девяти дубахъ! Видно, что ихъ образы были такъ же смутны, какъ было смутно и самое сознаніе народа, пока не явились могучіе, сильные богатыри.

Остановимся еще на одномъ явленіи русскаго богатырскаго міра, явленіи, безъ котораго картина этого міра была бы неполна и односторонняя. Что бы ни говорили о древней русской женщинѣ, какихъ бы усилій ни употребляли, чтобы возвысить и облагородить въ глазахъ читателя этотъ типъ, которому дѣйствительная современная жизнь не давала простора, такія личности, какъ жена Ставра и Настасья Королевишна, представляютъ плохое и ненадежное основаніе.

Ни по условіямъ бытовымъ и гражданскимъ, созданнымъ подъ вліяніемъ родовыхъ отношеній, ни по общему закону историческаго развитія невозможно такое ниспаденіе древней русской женщины отъ полной свободы и самостоятельности, какое хотятъ видѣть въ героическихъ типахъ русскихъ амазонокъ, къ подчиненности и рабскому повиновенію, о которомъ единогласно свидѣтельствуютъ современные писатели русскіе и иностранные.

---

1) Древнія Россійскія Стихотворенія, стр. 365.

Положимъ, что вслѣдствіе татарскаго ига, вліянія юга, усложненія самыхъ интересовъ и гражданскихъ отношеній, положеніе женщины измѣнилось и она, избѣгая насилій, заперлась въ теремѣ, *добровольно* отреклась отъ общества мужчинъ и *сумѣла* подавить въ себѣ всѣ лучшія человѣческія чувства и сердечныя движенія; но что служитъ намъ порукою въ томъ, что эти суровыя отношенія были когда-то легки и свободны, на основаніи какихъ свидѣтельствъ *утвердимъ мы за русскою женщиною независимость и равныя права съ мужчиною?*[1]) Существованіе въ народной поэзіи такихъ типовъ, какъ Настасья Королевишна, жена Ставра боярина, Василиса Микулишна, еще ничего не доказываетъ въ пользу гаданія о независимой самостоятельности древней русской женщины. Какъ богатырь есть созданіе народной миѳологіи и не походитъ на обыкновенныхъ смертныхъ, такъ и жены-вопительницы принадлежатъ къ созданію народнаго воображенія: онѣ служатъ мотивомъ, дополняющимъ картину русскаго богатырскаго міра, и доказываютъ только, что освобожденіе человѣческой сущности изъ-подъ темнаго космическаго обаянія совершилось въ народномъ сознаніи полно и цѣлостно, обнимало и мужчину и женщину; но это только фиктивная сторона народной жизни, это его *сознаніе*, *историческая возможность*, а не *историческая дѣйствительность*. Поэтому напрасно, кажется намъ, нѣкоторые изслѣдователи[2]) въ такихъ явленіяхъ, каковы образъ жены Ставра и Настасьи Королевишны, видятъ строгій историческій фактъ самостоятельности и воинственности древнихъ славянскихъ женщинъ: этого не допускаетъ и дѣйствительность, въ которой, особенно во времена языческія, женщина пользовалась почетомъ, но никогда не была *равна* въ своихъ правахъ мужчинѣ, и самый характеръ исторической поэзіи, которая въ употребленіи своихъ средствъ стоитъ выше обыденной дѣйствительности и относится свободно къ историческому матеріалу,

1) Рус. Бесѣда, № 4-й, ст. г. Аксакова о *богатыряхъ*, стр. 9.

2) Такъ же и Шульгинъ: О состояніи женщинъ въ Россіи до Петра Великаго. 1850 г., стр. 67 и слѣд.

придавая ему гигантскіе, фантастическіе размѣры, необходимые для полнаго осуществленія своихъ замысловъ. Поэтому-то богатырскіе женскіе образы мы встрѣчаемъ вмѣстѣ съ мужскими въ сказаніяхъ почти всѣхъ родственныхъ народовъ, какъ въ пѣсняхъ древней Эдды, въ поэмѣ о Нибелунгахъ и др. Сходство многихъ частныхъ мотивовъ въ русскихъ женскихъ богатырскихъ типахъ съ нѣмецкими и скандинавскими ясно указываетъ намъ эпоху, въ которую создались они: Брунгильда, по сказанію о Нибелунгахъ, положила зарокъ не выходить замужъ ни за кого, развѣ за того, кто побѣдитъ ее и превзойдетъ въ искусствѣ дукать копьемъ, бросать огромнымъ камнемъ и проч.; тогда она, съ лишеніемъ дѣвства, потеряетъ уже и свою сверхъестественную силу. Король Гунтеръ не могъ противостоять ея громадной силѣ и своею побѣдою былъ обязанъ Сигфриду и его плащу-невидимкѣ (Tarnkappe). То же самое видимъ мы и въ нашихъ богатырскихъ сказаніяхъ. Пѣсня о женитьбѣ князя Владимира передаетъ намъ, какъ богатырь Дунай добываетъ ему невѣсту, Апросинью Королевишну, дочь грознаго короля Этманула Этмануловича, заключенную въ высокомъ терему за тридесять замками булатными, а себѣ жену, другую дочь короля Этманула, Настасью Королевишну, которая съ тѣмъ и отпросилась у батюшки, что кто *побьетъ* ее, за того ей дѣвицѣ и *замужъ* итти. Послѣдняя видимымъ образомъ напоминаетъ сѣверную Брунгильду, какою мы видимъ ее въ пѣсняхъ древней Эдды и въ поэмѣ о Нибелунгахъ; напротивъ, первый типъ женщины, Апросинья Королевишна, напоминаетъ тѣхъ очарованныхъ валькирій и царевенъ, которыхъ освобождаютъ изъ заключенія герои и богатыри.

Таково, по нашему мнѣнію, значеніе и смыслъ древнѣйшаго періода сказаній о русскихъ богатыряхъ: здѣсь матеріалъ ихъ окончательно сложился. Но кромѣ этого, древнѣйшаго, такъ сказать, миѳическаго періода русскихъ богатырскихъ сказаній, въ нихъ можно отличить другой, историческій. Мы упоминали уже о томъ, какъ образы древнѣйшихъ миѳическихъ чудовищъ были

перенесены народною фантазіею на историческихъ татаръ и на другихъ враждебныхъ иноплеменныхъ народцевъ. Содержаніе народнаго эпоса далеко еще не истощилось, когда на его первичный языческій матеріалъ подѣйствовали историческія событія и произвели ту страшную смѣсь разнородныхъ элементовъ, которая въ такомъ обиліи встрѣчается въ произведеніяхъ древней русской словесности, не только свѣтскихъ, но и духовныхъ.... Такъ, напримѣръ, извѣстные *духовные* стихи, напечатанные Кирѣевскимъ въ Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древностей, явнымъ образомъ смѣшиваютъ древнѣйшія, чисто миѳологическія представленія съ христіанскими понятіями, а иногда на языческой основѣ развиваютъ цѣлое христіанское событіе или происшествіе[1]).

Живой источникъ богатырскихъ сказаній мало по малу истощался: первый ударъ ему нанесли христіанскія идеи, исподоволь входившія въ жизнь стариннаго русскаго человѣка. Утративъ свое жизненное значеніе, языческіе богатырскіе типы вмѣстѣ съ тѣмъ утратили и ту обаятельную силу, которою они привязывали къ себѣ младенческую душу язычника, заставляя его вѣрить въ дѣйствительность повѣствуемаго богатырскаго подвига; они низошли на степень стародавняго преданія, сохраняемаго въ народной памяти какъ обломокъ стройнаго цѣлаго. Собственно миѳическая, живая сторона богатырскихъ образовъ уже не могла развиваться на прежнемъ основаніи: для нея недоставало ни пищи, ни внутренней силы. Правда, богатырскіе типы измѣнялись вмѣстѣ со временемъ и историческими обстоятельствами, но измѣненія эти были не органическія и скорѣе скрадывали старинные грандіозные образы, нежели выясняли ихъ. Такимъ образомъ, вмѣсто прежнихъ сверхъестественныхъ героевъ-полубоговъ являются простые люди, въ природѣ которыхъ почти не замѣтно того высшаго блеска, какимъ отмѣчены старинные

---

1) Чтенія и пр., кн. 9, 1847 г., стр. 146—47, 152—154. Кирша Даниловъ, стр. 349; сравни Grimm's Deutsche Sagen, №№ 419 и 401.

герои-богатыри; историческія событія и дѣйствительныя происшествія пріурочиваются къ извѣстнымъ миѳологическимъ представленіямъ, или вставляются въ широкую раму какого-нибудь эпическаго мотива; жены-вонительницы уступаютъ мѣсто исторической женщинѣ извѣстной эпохи. Народное творчество постепенно слабѣетъ и можетъ возродиться только подъ условіемъ литературной обработки, какую сообщаетъ народному эпическому матеріалу искусная рука образованнаго поэта-писателя.

Удаленіе отъ живого источника преданія и первоначальнаго смысла богатырскихъ сказаній даетъ полную волю народной фантазіи; сказочныя начала окончательно перестраиваютъ богатырскіе типы и часто сообщаютъ имъ такіе формы и размѣры, которые не имѣютъ ничего общаго съ ихъ первоначальнымъ значеніемъ. Такимъ образомъ, историческія обстоятельства съ одной стороны, вліяніе *сказочнаго*, фантастическаго начала съ другой — вотъ тѣ пути, по которымъ проходитъ богатырское сказаніе во время *историческаго* періода своего существованія. Ясно, что этотъ періодъ мы не можемъ назвать дальнѣйшимъ органическимъ продолженіемъ жизни богатырскаго сказанія: твердо сложившееся еще въ миѳическую эпоху, оно могло только *измѣняться*, но не *развиваться*, могло пройти сквозь цѣлый рядъ самыхъ разнообразныхъ вліяній историческихъ и литературныхъ, могло утратить всѣ признаки своего стариннаго миѳическаго происхожденія; но никогда не имѣло силы вызвать изъ души давно угасшія вѣрованія въ богатырей и наивныя чаянія блага отъ ихъ побѣды..... Поэтому тотъ видъ богатырскихъ сказаній, въ которомъ они сохранились до нашего времени, далеко не первоначальный: по мѣрѣ накопленія новаго матеріала постепенно стирались старинныя черты, древнее мѣшалось съ новымъ, миѳическое съ историческимъ, все это принимало *сказочныя*, фантастическія формы — и вотъ объясненіе всѣхъ анахронизмовъ нашихъ богатырскихъ пѣсенъ; вотъ, по нашему мнѣнію, обстоятельства, которыя долженъ принять во вниманіе изслѣдователь.

Объясненіе богатырей, какъ существъ миѳологическихъ,

олицетворяющихъ въ себѣ освобожденіе народнаго сознанія изъ-подъ гнетущей власти грубыхъ природныхъ силъ, не исключаетъ, однако, возможности другого объясненія, историческаго. Мы попытаемся стать на эту точку зрѣнія, и для этого обратимся къ статьѣ г. Аксакова о богатыряхъ[1]) и подвергнемъ критикѣ тѣ немногіе выводы и соображенія, какіе встрѣчаются въ разныхъ мѣстахъ ея. «Первое и главное, говоритъ г. Аксаковъ, что́ «выдается изъ міра Владиміровыхъ пѣсенъ, это христіанская «вѣра; она постоянно и всюду основа жизни... всѣ богатыри — «православные (вѣроятно и Волхъ Всеславьевичъ тоже?), и по«стоянно повторяется богатырское присловье, когда пріѣзжаетъ «православный витязь къ неправославному государю:

Нѣтъ у тя Спасова образа,
Некому у тя помолитися, —
А и не за что тебѣ поклонитися.

«Вмѣстѣ, и согласно съ началомъ христіанской вѣры, вы«дается начало семейное, основа всего добраго на землѣ. Бога«тыри почтительны къ отцу и матери. Такъ Добрыня, отправ«ляясь на трудный подвигъ, проситъ благословленія у матери; «такъ заступается за мать Горденъ, такъ съ родительскимъ бла«гословеніемъ ѣдетъ на подвиги Илья Муромецъ. Но особенно «ярко проявляется то же начало въ *позднѣйшей* пѣсни Новгород«ской объ удаломъ Васильѣ Буслаевѣ: Василій съ своею дру«жиною перебилъ почти весь Новгородъ въ заранѣе условленной «съ нимъ схваткѣ; тогда мужики (мужи?) Новгородскіе идутъ къ «его матери просить защиты; она посылаетъ за сыномъ дѣвушку «чернавушку; та идетъ, схватываетъ Василья за руки и тащитъ «къ матери, которая сажаетъ его за замки и затворы. Какъ бы «ни *старались* въ словѣ «тащить» найти другой смыслъ, отноше«нія сыновнія Василья къ матери очевидны.

---

1) Въ кн. 4-й Русской Бесѣды за прошлый годъ.

«И такъ, сила богатырская является у насъ, освѣщенная чув-«ствомъ православія и чувствомъ семьи, безъ чего не можетъ «быть истинной силы» (стр. 9—10).

Вотъ два главнѣйшіе историческіе результата, выведенные г. Аксаковымъ изъ подробнаго разсмотрѣнія жизни и подвиговъ нашихъ старинныхъ богатырей. Если мы примемъ этотъ способъ объясненія богатырей, какъ личностей, дѣйствительные подвиги которыхъ сохранились въ народной памяти, то должны будемъ отвести имъ опредѣленное время и указать на эпоху сложенія сказаній о нихъ. И то, и другое г. Аксаковъ относитъ ко времени князя Владимира и характеризуетъ эту эпоху двумя главными началами: чувствомъ православной христіанской вѣры и чувствомъ семьи. Перенесемся на его точку зрѣнія и провѣримъ фактами эти два положенія. Относительно перваго прежде всего представляется слѣдующая мысль: если нашъ богатырскій міръ уже въ первое время своей жизни развивался на христіанской основѣ, если языческіе мотивы являются только какъ неорганическая посторонняя примѣсь, то отчего во все время своей жизни въ устахъ народа русскаго, уже подъ видимымъ вліяніемъ христіанскихъ идей, богатырскія сказанія не утратили своего языческаго колорита, отчего эта посторонняя примѣсь не исчезла, какъ нѣчто несущественное, и до сихъ поръ не уступила своего мѣста тѣмъ новымъ началамъ, которыя г. Аксаковъ поставляетъ во главу и основу нашего богатырскаго міра? Если бы сказаніе было создано на новой основѣ, оно бы прежде всего постаралось развить ее и мало по малу отказалось бы отъ языческой старины, занесенной какъ-то случайно и не имѣвшей питательнаго корня въ народныхъ понятіяхъ... Но вмѣсто этого, что́ встрѣчаемъ мы въ нашихъ богатырскихъ сказаніяхъ? По мѣрѣ того, какъ въ народную жизнь проникали новыя начала, останавливалось и развитіе богатырскихъ пѣсенъ, онѣ нисходили на степень стародавняго преданія и принимали въ себя только то изъ новаго, что́ гармонировало съ старинными эпическими представленіями; стоитъ только сравнить нѣкоторые изъ историче-

скихъ духовныхъ стиховъ (какъ напр. о Ѳедорѣ Тиронѣ, о Егоріи Храбромъ и др.) съ ихъ книжнымъ источникомъ, чтобы увидѣть, какъ народная фантазія пріурочивала книжный разсказъ къ эпическимъ стариннымъ мотивамъ и, въ случаѣ надобности, передѣлывала его по своему, не подчинялась новому, а напротивъ подчиняя его себѣ и пользуясь имъ точно такъ же, какъ встарину миѳическими представленіями, уже начинавшими тогда приходить въ забвеніе. Слѣдовательно была другая, болѣе древняя, жизненная основа нашихъ богатырскихъ сказаній, чѣмъ та, о которой говоритъ г. Аксаковъ, ея-то жизнью и жило наше богатырское сказаніе; все другое привзошло уже впослѣдствіи, какъ необходимый отпечатокъ времени и историческихъ условій. Эта основа такъ ярко свѣтитъ во всѣхъ, даже позднѣйшихъ нашихъ историческихъ пѣсняхъ, что нужно *особое* воззрѣніе, чтобы не замѣтить ея и дать ей мѣсто случайной неорганической прибавки. Намъ кажется, что г. Аксаковъ недостаточно вникъ въ древнѣйшую сущность русскаго богатырскаго эпоса и не взвѣсилъ относительной важности его составныхъ элементовъ; въ противномъ случаѣ онъ не оставилъ бы безъ вниманія его главнаго значенія и не выдвинулъ бы на первый планъ несущественнаго. Ошибка г. Аксакова произошла изъ той точки зрѣнія, съ которой онъ смотрѣлъ на русскій богатырскій міръ; она была слѣдствіемъ того метода, которому слѣдовалъ авторъ, метода, неприложимаго и несостоятельнаго въ отношеніи къ эпическимъ народнымъ сказаніямъ. Сказаніе не лѣтопись, и богатырскіе типы не дѣйствительныя историческія лица.

Описывая качества сказочнаго Краснаго-Солнышка, князя Владимира, г. Аксаковъ какъ-то оставляетъ въ тѣни его супругу, княгиню Апраксѣевну, и видимо воздерживается отъ изложенія любопытныхъ подробностей въ ея отношеніяхъ къ миѳическому Тугарину и къ атаману сорока калкъ; такое, можетъ быть, невольное ощущеніе повело его къ неправильному заключенію о значеніи семейнаго начала въ русскомъ богатырскомъ мірѣ. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только вглядѣться въ образъ ска-

зочной супруги князя Владимира, чтобы увидѣть въ ней воплощую антиномію крѣпости и святости семейныхъ отношеній, о которыхъ съ такою увѣренностію говоритъ г. Аксаковъ. И какимъ образомъ оправдаетъ онъ другіе, подобные же факты, содержаніе которыхъ онъ передаетъ съ такою опредѣленностію и отчетливостію? Назовемъ нѣкоторые изъ нихъ, наиболѣе яркіе. Отправляясь на подвигъ, Добрыня даетъ заповѣдь женѣ своей Настасьѣ: ждать его шесть лѣтъ, не дождется — двѣнадцать лѣтъ, а потомъ итти хоть за князя, хоть за боярина; не ходить только за брата названнаго, за молодого Алешу Поповича. Настасья не дождалась назначеннаго срока и пошла замужъ за Алешу Поповича, за бабьяго пересмѣшничка, за судейскаго перелестничка. Добрыня возвращается на свадебный пиръ, беретъ назадъ свою жену, приговаривая своему брату названному: «Здравствуй *женимшись*, да не съ кѣмъ спать»[1]). Однажды на пиру Владиміръ князь посылаетъ Чурилу Пленковича звать къ себѣ въ гости князей и бояръ; Чурила всѣхъ обошелъ, всѣхъ позвалъ, зашелъ къ Бермятѣ Васильевичу, къ его молодой женѣ, къ Катеринѣ прекрасной, и *поламышкался* тамъ. Владиміръ князь ждетъ его, что долго замѣшкался; наконецъ, спустя немного, пришелъ Чурила Пленковичъ — и началось пированье: пили, ѣли, прохлаждался на веселомъ пиру, и наконецъ разъѣхались по домамъ. Князья и бояре поутру пошли къ заутренѣ; въ то утро выпала пороша снѣгу, и нашли они свѣжій слѣдъ; удивляются князья и бояре: или заяцъ скакалъ, или бѣлъ горностай. А другіе усмѣхаются и говорятъ: это не заяцъ скакалъ и не бѣлъ горностай — это шелъ Чурила Пленковичъ къ старому Бермятѣ Васильевичу, къ его молодой женѣ, Катеринѣ прекрас-

---

1) Замѣчательно, что это сказаніе о свадьбѣ жены съ другимъ во время отсутствія законнаго мужа и о томъ, какъ онъ успѣваетъ предупредить самый бракъ — встрѣчается у всѣхъ Индо-Европейскихъ племенъ и въ поразительно сходныхъ чертахъ. Особенное распространеніе оно нашло у нѣмцевъ. См. Grimm's Deutsche Sagen, № 439, 520; срав. Вука Караджича Српске народне пјесме, т. 3, стр. 170—2.

ной. Въ другой редакціи той же пѣсни про Чурилу Пленковича [1]) еще подробнѣе разсказываются отношенія этого богатыря къ женѣ Перминьева (Бермяты) и тѣ уловки, на какія поднималась она, чтобы обмануть своего мужа. Этого, думаемъ, достаточно, чтобы видѣть, что второе положеніе г. Аксакова, не менѣе перваго, стоитъ въ противорѣчіи съ фактами, имъ же самимъ приводимыми. Возраженіе, что факты, приводимые нами — исключенія, незначительныя отступленія отъ цѣлаго, проникнутаго семейными началами — едва ли можетъ имѣть мѣсто; ибо тогда представляется обратный вопросъ: не были ли частностями и тѣ факты, на которыхъ опираетъ свое положеніе г. Аксаковъ, тѣмъ болѣе, что ихъ очень не много? Во всякомъ случаѣ, строить цѣлое мнѣніе о важности семейнаго начала, *основы всего добраго на землѣ*, на однихъ сыновнихъ отношеніяхъ богатыря къ матери — не слишкомъ ли смѣлое и опасное предпріятіе? Не значитъ ли это то же, что́ говорить о высокомъ нравственномъ и общественномъ значеніи древней русской женщины, основываясь на одномъ почетѣ и уваженіи, какимъ, безспорно, пользовались древнія *Новгородскія вдовы* [2]). Вѣдь и у народовъ Востока, на самой низкой ступени человѣческаго развитія, у кочевниковъ-монголовъ встрѣчаемъ мы такія же сыновнія отношенія; а между тѣмъ кто скажетъ, что тамъ умѣютъ уважать нравственное достоинство женщинъ? Кровная связь не есть еще семейство, основанное на христіанскихъ началахъ; въ ней нѣтъ еще того, что́ составляетъ душу послѣдняго [3]). Вотъ почему мы думаемъ, что второе положеніе г. Аксакова не только находится въ противорѣчіи съ фактами, но даже и съ первымъ положеніемъ, о несостоятельности котораго мы уже говорили выше.

---

1) Памятники Великорусскаго нарѣчія. Спб. 1855, стр. 108—111.

2) Москв., № 2, стр. 18—19.

3) Во многихъ случаяхъ въ нашемъ богатырскомъ мірѣ совершаются языческіе обряды брака вокругъ куста ракитова; а вслѣдъ затѣмъ настоящій христіанскій бракъ. Вотъ лучшее доказательство *двоевѣрія*. См. ст. Аксакова, стр. 30—35.

Такимъ образомъ, ложный взглядъ на весь богатырскій періодъ русской исторіи невольно вовлекъ изслѣдователя въ нѣкоторыя противорѣчія и неправильные выводы: на пути ему представлялось множество вопросовъ, которыхъ онъ, какъ историкъ, не могъ обойти и не предложить на нихъ посильнаго отвѣта; отсюда напрасные хлопоты оправдать казнь Добрыни надъ Мариною; отсюда цѣлая теорія отношеній Ильи Муромца къ королевичу Збуту и его матери; отсюда, наконецъ, желаніе выставить свѣтлое значеніе семьи и женщины въ древней русской жизни, вступленіе въ которую открываетъ русскій народный пѣвецъ слѣдующею прелюдіей:

«Благословите, братья, старину сказать,
«Какъ бы старину стародавную.
«Какъ бы въ стары годы, прежніе,
«Во тѣ времена первоначальныя,
«А и сынъ на матери снопы возилъ,
«Молода жена въ припряжи была;
«Его матушка обленчива,
«Молода жена разрывчива.
«Молоду жену свою поддерживалъ,
«Онъ матушку свою подстегивалъ
«Своимъ кнутикомъ воровашнымъ,
«Изорвался кнутикъ — онъ березинной [1]).

1) Кирша Данилова, стр. 517.

Новыя изслѣдованія преосвященнаго Макарія по древней русской словесности.

1857.

Недавно появились въ свѣтъ первые три тома «Исторіи Русской Церкви» преосвященнаго Макарія, обнимающіе періодъ времени отъ введенія христіанства въ Россіи до 1240 года.

Высокій интересъ предмета, до сихъ поръ мало обработаннаго, безпристрастный взглядъ человѣка просвѣщеннаго и отчетливое знакомство съ рукописными источниками — даютъ новому сочиненію пр. Макарія значеніе первокласснаго историческаго труда, а обиліе занимательныхъ подробностей, новыхъ мыслей и открытій въ области древне-русской письменности — дѣлаютъ эту книгу необходимою для каждаго интересующагося протекшими судьбами нашего отечества.

Не ограничиваясь предѣлами церковной, іерархической исторіи, авторъ сумѣлъ коснуться самыхъ жизненныхъ вопросовъ современной исторической науки и предложилъ болѣе или менѣе удовлетворительное ихъ разрѣшеніе. Какъ вторая или третья попытка, въ этомъ родѣ, нарисовать полную картину христіанской жизни нашего отечества, «Исторія Русской Церкви» пр. Макарія не чужда нѣкоторыхъ недостатковъ, извиняемыхъ отчасти временемъ и настоящимъ состояніемъ русской исторической науки, гдѣ вопросъ о византійскомъ вліяніи до сихъ поръ не находитъ ни одного сколько-нибудь удовлетворительнаго отвѣта, но будущій историкъ и всякій занимающійся русскою старыной не разъ съ благодарностію помянетъ достойный трудъ пр. Макарія, пролившій такъ много свѣта на этомъ тернистомъ пути, а современная наука не можетъ не встрѣтить его съ чувствомъ полной, глубокой признательности. Нѣтъ сомнѣнія, что достоинство и значеніе «Исторіи Русской Церкви» будутъ оцѣнены въ непродолжительномъ времени знатоками отечественной исторіи;

а потому, оставляя въ сторонѣ всякія преждевременныя сужденія, мы позволимъ себѣ, въ настоящемъ случаѣ, сказать нѣсколько словъ о трудахъ того же автора, касающихся исторіи нашей древней словесности. Бо́льшая часть изъ нихъ была помѣщена на страницахъ «Извѣстій Императорской Академіи Наукъ по Отдѣленію русскаго языка и словесности» и отсюда цѣликомъ внесена въ новое сочиненіе со многими важными выписками изъ древнѣйшихъ рукописей и библіографическими указаніями на источники.

Изслѣдованія пр. Макарія относятся преимущественно къ поучительному отдѣлу нашей древней литературы, къ проповѣдникамъ и пастырямъ церкви, каковы: преподобный Ѳеодосій Печерскій, Кириллъ Туровскій и др. Авторъ очень подробно излагаетъ содержаніе ихъ поученій и молитвъ, и предлагаетъ собственныя замѣчанія о ихъ литературномъ характерѣ и достоинствѣ, объ отношеніи ихъ къ современному обществу и той средѣ, для которой предназначались они, — однимъ словомъ, въ его очеркахъ мы имѣемъ полное обозрѣніе сочиненій нашихъ духовныхъ писателей съ точки зрѣнія церковнаго историка. Въ этой необходимой односторонности, условленной характеромъ цѣлаго сочиненія, находится, по нашему мнѣнію, главное достоинство литературныхъ обозрѣній пр. Макарія; какъ лицо духовное, близко знакомое съ исторіею развитія христіанскаго богословія, онъ могъ яснѣе понимать сочиненія такихъ писателей, какъ Кириллъ Туровскій, могъ живѣе чувствовать то впечатлѣніе и вліяніе, какое производили на окружающее общество его поученія. Дѣйствительно, его приговоры, основанные на честномъ изученіи дѣла и близкомъ знакомствѣ съ предметомъ, имѣютъ для насъ особую цѣну и значительно отличаются отъ всѣхъ доселѣ существовавшихъ мнѣній нашихъ историковъ литературы. Мы постараемся въ немногихъ словахъ познакомить съ ними читателей «Русскаго Вѣстника.»

Въ судьбахъ нашей древней поучительной словесности можно замѣтить два главныя направленія: теоретическое и практиче-

ское. Первое стремилось къ тому, чтобы сдѣлать истины новой вѣры осязательными и доступными для непросвѣщенныхъ язычниковъ, укоренить въ душѣ ихъ первыя представленія христіанскихъ догматовъ и живыми примѣрами объяснить имъ сущность новаго ученія. Практическое же направленіе давало вещественное значеніе этимъ духовнымъ идеямъ, непосредственно вводило въ жизнь и указывало на ихъ примѣненіе. Первое имѣло поучительный характеръ, второе — обличительный. Представителями этихъ двухъ направленій, по всей справедливости, можно назвать двухъ писателей-пастырей: Кирилла, епископа Туровскаго, и Ѳеодосія, преподобнаго игумена Печерскаго.

Начнемъ съ послѣдняго, какъ старѣйшаго по времени и представителя практическаго направленія.

«Сочиненія великаго игумена Печерскаго (1062—1074), которыя донынѣ остаются извѣстными большею частью только по имени [1]), и изъ которыхъ одни сохранились въ полномъ своемъ составѣ, а другія въ отрывкахъ, можно раздѣлить на четыре класса. Къ первому принадлежатъ два поученія его, обращенныя вообще къ народу русскому; ко второму — девять поученій, сказанныхъ собственно кіевопечерскимъ инокамъ; къ третьему — два посланія къ князю Изяславу; къ четвертому — двѣ молитвы къ Богу».

Всѣ сочиненія Ѳеодосія, по мнѣнію пр. Макарія, отличаются совершенною простотой и краткостію, но проникнуты жизнію и пламенною ревностію о благѣ ближнихъ. Тонъ ихъ обличительный и вмѣстѣ глубоко-наставительный; языкъ — церковно-славянскій, но имѣющій нѣкоторыя особенности въ словахъ и оборотахъ рѣчи и не чуждый вліянія языка народнаго.

1) Извѣст. Ак. Наукъ, т. 4, в. VI. 1855. Это было писано тогда, когда сочиненія Ѳеодосія, напечатанныя во 2-й книгѣ «Ученыхъ Записокъ Академіи Наукъ по 2-му отдѣленію», еще не являлись въ свѣтъ, но были извѣстны пр. Макарію, какъ издателю ихъ. Въ примѣчаніяхъ къ «Исторіи Русской Церкви» находятся нѣкоторыя сочиненія Ѳеодосія, не вошедшія въ прежнее изданіе и напечатанныя съ дипломатическою точностію, чѣмъ, къ сожалѣнію, не можетъ похвалиться изданіе Академіи.

Чтобы подтвердить эту характеристику, мы позволимъ себѣ привести нѣсколько частностей, прямо характеризующихъ то время, среди котораго жилъ и дѣйствовалъ Ѳеодосій.

Язычество было еще во всей своей силѣ, и народъ, называясь народомъ христіанскимъ, продолжалъ прежнюю, старинную жизнь, воспитанную на языческихъ преданіяхъ, и не имѣлъ силы отказаться отъ обаяній старины. Объясняя народу значеніе *казней Божіихъ*, каковы: нашествіе иноплеменниковъ, бездождіе, голодъ, Ѳеодосій обличаетъ въ нечестіи своихъ соотечественниковъ, убѣждаетъ ихъ покаяться и жить по-христіански, а не по-языčески: «напримѣръ, не по-языčески ли мы поступаемъ, говоритъ онъ, когда, встрѣтивъ черница или черницу, или свинью, или лысаго коня, возвращаемся назадъ? Такого суевѣрія держатся по наученію отъ дьявола. Иные вѣрятъ чиханію, которое часто бываетъ на здравіе главѣ; но этимъ обольщаетъ дьяволъ, равно какъ и другими обычаями и искушеніями, удаляющими насъ отъ Бога, волхвованіемъ, чародѣяніемъ, блудомъ, запоемъ, рѣзаніемъ (мздоимствомъ?), приклады (постомъ или лихвою?), воровствомъ, лжею, завистью, клеветою, *зубами* (дракой?), *скоморошествомъ*, гуслями и другими играми и непотребными дѣлами». Указывая на частныя заблужденія и пороки, Ѳеодосій особенно возстаетъ противъ пьянства и грабежа: «осматривай руки твои и испытывай, продолжаетъ онъ, чисты ли онѣ отъ грабежа и мздоимства: если ты грабилъ и бралъ лихву и корчемный откупъ, или кого пріобидѣлъ чѣмъ-либо... то не воздѣвай рукъ твоихъ, пока не очистишься отъ всякаго зла... О горе, и еще скажу, о горе пребывающимъ въ пьянствѣ! Пьянствомъ отгоняемъ отъ себя ангела-хранителя и привлекаемъ къ себѣ злого бѣса; черезъ пьянство удаляемся отъ Св. Духа и приближаемся къ аду. Бѣсы радуются нашему пьянству и, радуясь, приносятъ дьяволу пьянственную жертву отъ пьяницъ. Дьяволъ, радуясь, говоритъ: никогда я столько не услаждаюсь жертвами язычниковъ, сколько пьянствомъ христіанъ, потому что въ пьяницахъ находятся всѣ дѣла моего хотѣнія. Ангелы же святые,

пришедши, повѣдали св. отцамъ съ великою печалію, чтобы они писаніемъ отучили христіанъ отъ пьянства, но не отъ питья: ибо иное пьянство злое, а иное питіе въ мѣру, и въ законъ, и въ приличное время, и во славу Божію»... Въ другомъ своемъ поученіи къ народу Ѳеодосій снова вооружается противъ господствовавшаго тогда пьянства и обычая пѣть тропари за чашами, приводитъ правила св. отцовъ, запрещающія пьянство, и указываетъ на то унизительное положеніе, до какого доходитъ пьяница, отдавая себя на посмѣяніе всѣмъ людямъ: «Бѣсный страдаетъ невольно и удостоится жизни вѣчной, а пьяный страдаетъ по своей волѣ и подвергается вѣчной мукѣ. Къ бѣсному придетъ іерей, сотворитъ молитву, — и прогонитъ бѣса; а къ пьяному хотя бы сошлися іереи всей земли и сотворили надъ нимъ молитву, — то не прогнали бы отъ него бѣса самовольнаго пьянства.»

Видно, что подобныя увѣщанія были вызваны насущными потребностями современнаго общества и той среды, пастыремъ которой былъ Ѳеодосій. Съ одной стороны языческія вѣрованія не охотно уступали мѣсто новымъ началамъ, исподоволь проникавшимъ въ жизнь; съ другой — самые нравы эпохи, нравы грубые, не сдерживаемые никакимъ нравственнымъ закономъ, порождали множество пороковъ и заблужденій, съ которыми не могли примириться высокія христіанскія требованія нашего знаменитаго подвижника. Потому-то его поученія къ народу имѣютъ характеръ по преимуществу обличительный; они направлены или противъ язычества, или противъ частныхъ пороковъ, каковы пьянство, грабежъ, корчемный откупъ и др. Къ сожалѣнію, до насъ дошли только два такія поученія къ народу, остальныя же девять обращены уже исключительно къ кіево-печерскимъ инокамъ. Монахъ Кіево-Печерской лавры, преподобный Несторъ, въ своей лѣтописи, посвятилъ нѣсколько одушевленныхъ страницъ описанію родной обители и жизни ея подвижниковъ. Имѣя въ виду благое назиданіе потомству, онъ выставилъ лишь свѣтлую сторону монастырской жизни и не коснулся слабой. Поученія игумена Ѳеодосія восполняютъ этотъ недостатокъ, достой-

нымъ образомъ заканчивая ту живую картину современнаго общества, какую встрѣчаемъ мы въ его очеркахъ, полныхъ любви и кроткаго обличенія. Кромѣ частныхъ отношеній и поводовъ, по которымъ написаны они, кромѣ указанія нѣкоторыхъ недостатковъ иноческой современной жизни, поученія преподобнаго Ѳеодосія предлагаютъ богатѣйшій матеріалъ для воссозданія всего древне-русскаго монастырскаго быта и имѣютъ особенную цѣну для историка нашей церкви. Преосвященный Макарій очень удачно воспользовался ими въ своемъ новомъ сочиненіи, но изслѣдователь, слѣдящій за движеніемъ литературной жизни нашего отечества, едва ли найдетъ многое въ этихъ поучительныхъ наставленіяхъ, замѣчательныхъ развѣ краткостью и изящною простотой своей формы, составляющею отличительный характеръ всѣхъ сочиненій преподобнаго Ѳеодосія.

«Поучая народъ и братію, преп. Ѳеодосій поучалъ нерѣдко и самихъ князей не только словомъ, но и чрезъ писанія. Преп. Несторъ свидѣтельствуетъ о посланіяхъ его къ великому князю Святославу и въ особенности объ одномъ весьма великомъ посланіи, въ которомъ старецъ сильно обличалъ князя за похищеніе имъ кіевскаго престола у брата своего Изяслава. Къ сожалѣнію, всѣ эти посланія не дошли до насъ. Сохранились только два посланія къ великому князю Изяславу».

Первое посланіе имѣетъ своимъ предметомъ рѣшеніе двухъ вопросовъ: можно ли въ день воскресный, *еже есть недѣля*, закалать вола, или овна, или птицу, или что̀ другое, и ѣсть ихъ мясо? Ѳеодосій разрѣшаетъ эти вопросы примѣрами изъ священной исторіи. Вообще характеръ вопросовъ, по замѣчанію пр. Макарія, указываетъ на самыя первыя времена нашей церкви. Другое посланіе — гораздо важнѣе перваго — разсуждаетъ о вѣрѣ варяжской или латинской. Здѣсь Ѳеодосій исчисляетъ князю разныя отличія латинской вѣры отъ православной, говоритъ о *недобрыхъ* обычаяхъ латинянъ, а затѣмъ учитъ его, какъ должно держать себя по отношенію къ латинской вѣрѣ и ея послѣдователямъ. Въ этомъ посланіи обозначились тѣ рели-

гіозные вопросы, какіе занимали нашихъ князей и за разрѣшеніемъ которыхъ они обращались къ пастырямъ и учителямъ церкви. «Надобно однако замѣтить, говоритъ пр. Макарій, что между обвиненіями на латинянъ, излагаемыми въ посланіи, находятся и такія, которыя могли относиться къ частнымъ лицамъ, а отнюдь не ко всей Римской церкви, или даже представляются не совсѣмъ вѣрными. Это могло произойдти отъ двухъ причинъ: отъ того, что преп. Осодосій судилъ о заблужденіяхъ латинянъ только по слухамъ, и отъ того, что такія именно обвиненія и многія другія подобныя взводили тогда на латинянъ въ Греціи и вообще на Востокѣ».

Такимъ образомъ всѣ сочиненія преп. Ѳеодосія написаны не на какія-либо отвлеченныя или произвольно придуманныя темы, а соотвѣтственно современнымъ потребностямъ и, изображая умъ и сердце самого писателя, не мало обрисовываютъ и его время. Онъ, какъ мы уже замѣтили, можетъ быть названъ представителемъ исключительно практическаго направленія нашей древней поучительной словесности, того направленія, задача котораго состояла въ осуществленіи и примѣненіи къ явленіямъ грубой чувственной жизни язычника высокихъ уроковъ христіанской нравственности. Кирилла Туровскаго назвали мы представителемъ другаго направленія — теоретическаго. Оно сказалось всего болѣе въ его словахъ, произнесенныхъ имъ во храмѣ предъ народомъ. «Каждое изъ этихъ словъ начинается приступомъ, въ которомъ большею частью выражена какая-либо общая мысль, не всегда однакожъ удачно приспособленная къ послѣдующему изложенію слова. Въ самомъ словѣ обыкновенно изъясняется предметъ праздника, раскрываются обстоятельства воспоминаемаго событія, его значеніе и слѣдствія, или излагается притча. При изъясненіи подробностей событія или притчи проповѣдникъ почти вездѣ старается показать ихъ переносный, таинственный смыслъ, иногда естественно и вѣрно, иногда довольно принужденно и произвольно. Краткія евангельскія сказанія большею частью распространяетъ, нѣкоторыя простыя и несложныя со-

бытія представляетъ въ образной драматической формѣ, и въ уста дѣйствующихъ лицъ влагаетъ длинныя рѣчи и объясненія, которыя, хотя, разсматриваемыя отдѣльно, иногда прекрасны, но не всегда естественны и нерѣдко дѣлаются утомительными при чтеніи, нарушая единство слова.... Вообще о словахъ святителя Туровскаго можно сказать, что отдѣльныя мѣста въ нихъ есть весьма хорошія и даже прекрасныя, но цѣлаго, вполнѣ выдержаннаго и современнаго слова нѣтъ ни одного; что въ нихъ довольно искусственности и изысканности, какъ въ сочетаніи мыслей, такъ и въ выраженіяхъ, и очень мало нравственныхъ наставленій, — слѣдовательно недостаетъ двухъ самыхъ главныхъ свойствъ проповѣдей св. Златоуста: общедоступности и нравственнаго преобладающаго направленія». (Изв. т. 5, в. 5, р. 228).

Таково мнѣніе пр. Макарія о словахъ Кирилла Туровскаго. Дѣйствительно, разсматриваемыя съ литературной точки зрѣнія, его церковныя поученія поражаютъ обиліемъ иносказательныхъ, символическихъ толкованій и витіеватаго риторизма; они едва ли могли быть доступны пониманію того общества, для котораго предназначались; стремленіе объяснять самыя простыя истины и событія метафорическими уподобленіями, игривая фантазія и иногда витіеватый языкъ, сообщаютъ его поученіямъ видъ загадочности и неопредѣленнаго символизма.

Но если символизмъ поученій Кирилла Туровскаго много вредилъ ихъ относительному литературному достоинству и общедоступности, то все же въ немъ нельзя не видѣть личнаго литературнаго дарованія и оригинальности. Для того, чтобы укоренить въ душахъ новопросвѣщеннаго общества высокія нравственныя идеи христіанской вѣры, проповѣдники того времени обыкновенно прибѣгали къ уподобленіямъ и символамъ, заимствуя ихъ изъ тѣхъ теологическихъ представленій, какія были въ ходу у западныхъ и восточныхъ современныхъ духовныхъ писателей; стоитъ только сравнить любое непонятное поученіе туровскаго святителя съ византійскою теологическою наукой XI и XII

вѣка [1]), чтобъ отыскать въ ней его полное объясненіе и оправданіе. Къ сожалѣнію, пр. Макарій не обратилъ должнаго вниманія на этотъ и важный и любопытный предметъ, и оттого въ его изслѣдованіяхъ почти не замѣтно тѣхъ живыхъ связующихъ нитей, какія соединяли нашу духовную словесность съ ея византійскимъ прототипомъ.

Сочиненія Кирилла Туровскаго, обращенныя къ инокамъ, отличаются тѣмъ же характеромъ символизма и нравственнаго аскетизма, но представляютъ уже менѣе непонятнаго и иносказательнаго: въ нихъ виднѣе мысль, хотя и она часто находится подъ сильнымъ вліяніемъ воображенія и фантазіи. За то молитвы его запечатлѣны простотой, естественностію, и проникнуты живымъ христіанскимъ чувствомъ.

Кромѣ сочиненій Кирилла Туровскаго, дошедшихъ до насъ и несомнѣнно ему принадлежащихъ, есть еще сочиненія его *потерянныя*, или, по крайней мѣрѣ, досель остающіяся въ неизвѣстности, и есть сочиненія *сомнительныя*, приписываемыя ему безъ достаточныхъ основаній. Имъ посвящаетъ пр. Макарій послѣднюю главу своего литературнаго очерка. *Обзоръ редакцій кіево-печерскаго патерика, преимущественно древнихъ* (Извѣст. т. V, вып. 3), принадлежащій тому же автору, представляетъ очень подробное изложеніе различныхъ редакцій этой замѣчательной книги относительно одной только внѣшней формальной стороны ея. «Патерикъ Печерскій не есть сочиненіе одного какого-либо человѣка. Ни Несторъ, ни Симонъ, ни Полікарпъ не писали Патерика. Первый составилъ только житіе преп. Ѳеодосія и помѣстилъ въ своей лѣтописи нѣкоторыя сказанія о подвижникахъ печерскихъ. Второй написалъ свое посланіе къ частному лицу, въ назиданіе которому упомянулъ о нѣкоторыхъ сподвиж-

1) Въ извѣстныхъ сочиненіяхъ Пипера (Mythologie und Symbolik d. christlich. Kunst) и Вольфганга Менцеля (Christliche Symbolik) мы находимъ цѣлую обстоятельную исторію христіанскихъ символическихъ представленій, предлагающую множество любопытныхъ данныхъ для сближенія и разъясненія такихъ сочиненій, каковы поученія Иларіона и Кирилла Туровскаго.

никахъ печерскихъ. Третій хотя предназначалъ свое посланіе для чтенія всѣхъ братій Печерской обители, но повѣствуетъ также только о нѣкоторыхъ подвижникахъ печерскихъ и дѣлаетъ обращенія къ частному лицу....». Всѣ редакціи кіево-печерскаго Патерика относительно историко-литературныхъ условій «оказываются болѣе или менѣе несовершенными, потому что ни одна изъ нихъ не сохранила сочиненій Нестора, Симона и Поликарпа о печерскихъ подвижникахъ безъ измѣненій, а нѣкоторыя даже измѣнили ихъ значительно. И въ этомъ отношеніи сравнительно-лучшими редакціями можно назвать: Арсеньевскую, Акакіевскую, Кассіановскую....; но несправедливо требовать, чтобы составители Патерика заботились только сохранить въ подлинномъ видѣ означенныя сочиненія Нестора, Симона и Поликарпа, когда эти сочиненія написаны разными лицами и съ разными цѣлями, не имѣютъ между собой связи и единства, а два обращены притомъ къ частнымъ лицамъ. Нѣтъ, долгъ составителей Патерика былъ тотъ, чтобы изъ разныхъ сочиненій о печерскихъ подвижникахъ составить одинъ общій сборникъ, который бы, по возможности, соотвѣтствовалъ идеѣ Патерика, представлялъ собою одно опредѣленное цѣлое и обращенъ былъ ко всѣмъ православнымъ христіанамъ...— и въ этомъ случаѣ всѣ редакціи Патерика оказываются болѣе или менѣе совершенными, потому что всѣ могли болѣе или менѣе достигать своей цѣли, доставляя христіанамъ назидательное чтеніе о подвижникахъ печерскихъ».

Будемъ надѣяться, что преосвященный Макарій, ученый, обладающій громадными свѣдѣніями и рѣдкимъ историко-критическимъ талантомъ, такимъ же образомъ оцѣнитъ и внутреннее литературное достоинство редакцій Патерика печерскаго и ихъ различныя измѣненія. Прочное начало этому уже положено въ его новомъ историческомъ трудѣ, счастливаго продолженія котораго, безъ сомнѣнія, съ нетерпѣніемъ ждетъ вся образованная русская публика.

Мистеріософія бардовъ Бретани.

1857.

Le mystère des bardes de l'île de Bretagne ou la doctrine des bardes Gallois du moyen âge sur Dieu, la vie future et les transmigrations des âmes. Par A. Pictet. 1856 г., 82 стр.

При современномъ направленіи исторической науки въ Европѣ, когда каждый городъ, каждое сколько-нибудь замѣчательное мѣстечко находитъ своего историка-біографа, было бы очень странно, если бы цѣлое, нѣкогда огромное и могучее племя не привлекло на себя вниманія историковъ.

Правда, что значеніе кельтовъ въ европейской цивилизаціи и ихъ дѣятельное участіе въ судьбахъ средневѣковой Европы рано сдѣлались предметомъ серіознаго изученія западныхъ историковъ; но скудость народныхъ памятниковъ, трудность языка, значительно отошедшаго отъ общаго индоевропейскаго корня, самая шаткость старинаго историческаго метода, давали глухіе, по большей части невѣрные отвѣты на пытливые запросы молодой науки.

Въ такомъ колеблющемся положеніи находилось дѣло до начала текущаго столѣтія, когда сравнительно-историческій методъ въ изученіи языка и народности вывелъ изслѣдователей на свѣжій воздухъ и указалъ имъ прямую дорогу. Съ тѣхъ поръ каждый годъ, ежели не каждый мѣсяцъ, приноситъ что-нибудь новое: новое открытіе, новый взглядъ, новую мысль; старое, давно-извѣстное подвергается пересмотру и является въ обновленной одеждѣ.

При такомъ направленіи, началъ мало-по-малу выясняться и старинный кельтскій міръ съ своею въ высшей степени оригинальною физіономіей.

Реставрація его, говоря вообще, гораздо моложе реставраціи остальныхъ народностей великой индо-европейской семьи; по-

этому въ исторіи его до сихъ поръ еще такъ много неяснаго, неполнаго, отрывочнаго; но это только начатки: окончательные же плоды и успѣхи остаются за грядущими поколѣніями.

Кельтское племя еще не окончило своего историческаго поприща и въ чистотѣ уцѣлѣло на двухъ небольшихъ клочкахъ земли Франціи и Англіи: тотъ же языкъ, тѣ же нравы, обычаи, преданія роднятъ эти остатки великой народности, разобщенные старинными политическими событіями [1]).

Чисто-сціентифическій вопросъ скоро нашелъ отголоски и въ самой жизни: съ появленіемъ ученыхъ изслѣдованій о языкѣ, литературѣ, исторіи кельтовъ, съ превосходными собраніями старинныхъ пѣсенъ и повѣстей Арморики, пробудились среди народа и многіе умственные и нравственные интересы, мысль о необходимости просвѣщенія, науки, литературы. Такое единство науки и жизни, свидѣтельствующее о степени зрѣлости народа, сообщаетъ кельтскимъ занятіямъ тотъ живой современный интересъ, котораго не имѣютъ занятія другими отжившими историческими народностями.

Оправдываясь этимъ, мы рѣшаемся на первый разъ познакомить читателей «Русскаго Вѣстника» съ небольшимъ, но чрезвычайно важнымъ памятникомъ кельтской старины, изданнымъ въ истекшемъ году, съ французскимъ переводомъ и любопытнымъ комментаріемъ А. Пикте, извѣстнаго автора сочиненія о сродствѣ кельтскаго языка съ санскритскимъ.

Этотъ единственный памятникъ средневѣковой литературы имѣетъ своимъ предметомъ понятія бардовъ о существѣ Бога, составѣ вселенной, переселеніи душъ и человѣческомъ назначеніи, словомъ, это—краткое изложеніе ихъ религіозной философіи.

---

1) На народномъ праздникѣ, данномъ въ 1839 г. въ знакъ любви и племеннаго единства французскими кельтами своимъ валлійскимъ братьямъ, присутствовалъ слѣпой *бардъ*, импровизировавшій стихи во славу великаго кельтскаго племени. См. Villemarqué, Contes populaires des anciens Bretons, t. I. préface. Это тотъ же почтенный остатокъ эпической старины, который до сихъ поръ еще сохранился у насъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Малороссіи.

Онъ составляетъ часть неизданной рукописи подъ названіемъ: *Таинство Бардовъ острова Бретани* (Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain), заключающей въ себѣ собраніе различныхъ наставленій бардовъ о поэзіи, музыкѣ (собственно пѣніи), вопросахъ нравственныхъ и религіозныхъ. Рукопись, заключающая въ себѣ мистическія тріады бардовъ [1]), принадлежитъ къ концу XVII столѣтія; всѣ остальныя статьи не восходятъ далѣе половины XVI и писаны новымъ языкомъ, однако древность ея основы признана всѣми знатоками кельтской народности, каковы: Генри Мартенъ, Яковъ Гриммъ, и друг. «Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ издатель, какъ объяснить существованіе у средневѣковыхъ кельтовъ такой оригинальной религіозной системы, основаніемъ которой служитъ ученіе о переселеніи душъ по смерти, если не принять родственной связи ея съ друидическимъ ученіемъ, имѣвшимъ то же самое вѣрованіе?... Откуда явилось у бардовъ такое полное, глубокое, оригинальное ученіе, если не отъ ихъ предшественниковъ друидовъ, вѣрованія которыхъ долгое время, по крайней мѣрѣ въ тайнѣ, противились введенію христіанства? Тайныя общества бардовъ, уцѣлѣвшія въ Галліи вопреки непрерывнымъ вторженіямъ римлянъ, англо-саксовъ и англичанъ, съ стойкостію, свойственною кельтамъ, сохранили остатки старинныхъ народныхъ вѣрованій, и тріады, о которыхъ идетъ рѣчь, безъ сомнѣнія были послѣднимъ ихъ проявленіемъ.»

Но это однако, какъ мы думаемъ, вовсе не значитъ, чтобъ онѣ представляли старинную друидическую систему: христіанство необходимо должно было имѣть значительное вліяніе на этотъ родъ тайной религіи, сохраняемой бардами болѣе какъ почтенное національное воспоминаніе, нежели какъ дѣйствительное ученіе. Только этимъ вліяніемъ можно объяснить тотъ характеръ чистоты, возвышенности и гуманизма, который поражаетъ въ этихъ тріадахъ и который стоитъ въ рѣзкомъ противорѣчіи

1) Памятникъ, о которомъ мы говоримъ, изложенъ въ видѣ тріадъ или аѳоризмовъ, развивавшихъ въ тройственной формѣ, вѣроятно, для лучшаго удержанія ихъ въ памяти.

съ варварскими сторонами старинаго друидическаго культа (p. 16—19).

Но вліяніе христіанства не было прямымъ, непосредственно дѣйствующимъ началомъ въ мистическомъ ученіи бардовъ: оно только очистило, возвысило древнія понятія о Богѣ, вселенной, безсмертіи души и др. Здѣсь нѣтъ рѣчи ни о св. Троицѣ, ни о личности Іисуса Христа, ни объ искупленіи, нѣтъ также никакихъ намековъ на средневѣковыя понятія объ адѣ, чистилищѣ, раѣ,—понятія, которыя играютъ такую важную роль въ народной поэзіи и сказаніяхъ другихъ племенъ.

Обратимся теперь къ самому памятнику. Его можно раздѣлить на двѣ части: первая, заключающая въ себѣ 11 тріадъ, не представляетъ въ себѣ ничего оригинальнаго и болѣе или менѣе подходитъ къ ученіямъ другихъ, уже извѣстныхъ, религіозныхъ и философскихъ системъ; за то 12 тріада и слѣд. поражаютъ насъ яркостью изложенныхъ въ нихъ понятій и самою оригинальностію терминологіи. Мы приведемъ въ переводѣ важнѣйшія изъ тріадъ, придерживаясь какъ можно ближе подлинника, и въ затруднительныхъ случаяхъ прибѣгая къ комментарію ученаго издателя.

Тр. XII. «Три круга существованія: 1) *кругъ пустаго пространства*, гдѣ, кромѣ Бога, нѣтъ никакого существа ни живаго ни мертваго, и перейдти который никто кромѣ Бога не можетъ; 2) *кругъ переселенія*, гдѣ всякое живое существо находится въ состояніи смерти, и человѣкъ его перешелъ; и 3) *кругъ блаженства*, гдѣ всякое живое существо находится въ состояніи жизни, и человѣкъ чрезъ него переходитъ на небо».

Тр. XIII. «Три состоянія живыхъ существъ: *состояніе ничтожества въ безднѣ* (Annwn), *состояніе свободы въ человѣчествѣ* и *состояніе любви* или *блаженства въ небѣ*».

Тр. XIV. «Три необходимыя фазы всякаго существованія по отношенію къ жизни: *начало въ безднѣ* (Annwn), *переселеніе въ кругъ переселенія* (Abred) и *полнота въ небѣ* или *кругъ блажен-*

ства (Gwynfyd), и внѣ этихъ трехъ фазъ ничто не можетъ существовать кромѣ Бога».

Эти три тріады составляютъ главную тему мистическаго ученія бардовъ: слѣдующія занимаются дальнѣйшимъ развитіемъ частностей и свойствъ каждаго круга отдѣльно; что же касается до *бездны*, то это не иное что̀, какъ самая низшая точка *круга переселенія*, это хаосъ, содержащій въ себѣ сѣмена всякой жизни: каждая вещь тамъ существуетъ предвѣчно, но въ состояніи мрака и неустройства, это противоположность *состоянію свободы въ человѣчествѣ* и точка отправленія для переселенія душъ, отъ которой постепенно восходятъ онѣ къ свѣту и жизни. Такое ученіе встрѣчаемъ мы еще въ древности у гностиковъ, Ἄβυσσος которыхъ вполнѣ соотвѣтствуетъ идеѣ *бездны* (Annwn) кельтическихъ бардовъ.

Тр. XVII. «Три причины необходимости круга переселенія: *развитіе вещества всего живаго; развитіе познанія всякой вещи* и *развитіе* нравственной силы, чтобы восторжествовать надъ всѣмъ противнымъ и надъ врагомъ (Cythraul, діаволъ) и чтобы освободиться отъ *злаго* (Drwg)».

Тр. XVIII. «Три первоначальныя бѣдствія въ кругѣ переселенія: *необходимость, потеря памяти* и *смерть*».

На самой низшей точкѣ *круга переселенія*, въ бездиѣ, царитъ мрачная *необходимость*. Приходя къ самосознанію, человѣкъ становится свободнымъ существомъ, но онъ обреченъ смерти, и ежели не возвысился на столько, чтобъ освободиться изъ *круга переселенія*, онъ умираетъ, чтобы возродиться въ другой формѣ, и теряетъ память о своей прошлой жизни. Только тогда человѣку возвращается память о ней, когда онъ освободится изъ *круга переселенія*; въ настоящей жизни—это удѣлъ немногихъ исключительныхъ натуръ.

Тр. XIX. «Три необходимыя условія для достиженія полноты знанія: *перейти въ кругъ переселенія, перейти въ кругъ блаженства* и *привести на память все прошедшее* со времени пребыванія въ *бездиѣ*».

Тр. XX. «Три вещи неизбѣжно соединены съ состояніемъ пребыванія: въ кругѣ переселенія *преступленіе закона* (грѣхъ), *освобожденіе* отъ смерти предъ *злымъ* (Drwg) и *врагомъ* (Cythraul), *увеличеніе жизни* и *блага* чрезъ отдаленіе отъ *злаго* въ освобожденіи отъ смерти».

Тр. XXVI. «Три вещи необходимо низводятъ человѣка въ кругъ переселенія, если бы даже въ другомъ отношеніи онъ и привязался къ доброму: *гордость*, чрезъ которую онъ падаетъ въ *бездну*, *неправда*, которая доводитъ его до равносильнаго проступка, и *недостатокъ любви*, чрезъ который онъ дѣлается подобенъ животному. Отсюда онъ начинаетъ новое переселеніе въ кругу человѣчества».

Освободившись изъ круга переселенія, бардъ Таліесинъ въ своихъ поэмахъ разсказывалъ, какъ онъ, поочередно, принималъ различныя формы вещей и животныхъ, прежде чѣмъ явился въ своей собственной. Онъ былъ мечомъ, щитомъ, топоромъ, сохою, лопатою, лампою, струною изъ лиры, лодкою, мостомъ, гвоздемъ изъ щипцовъ, книгою и даже однимъ написаннымъ словомъ, потомъ: шемъ, губкой, каплей дождевой воды, хлѣбомъ, взросшимъ на горѣ, и т. д. Въ этой послѣдней формѣ онъ былъ сжатъ, высушенъ и потомъ съѣденъ курицею съ красными когтями и разорваннымъ гребешкомъ; въ ея желудкѣ онъ провелъ 9 дней и ночей. Что же касается до животныхъ формъ, то онъ попеременно принималъ виды: собаки, оленя, быка, жеребца, вепря, козла, пѣтуха, ящерицы, змѣи и т. д. Такимъ образомъ понятія бардовъ о переселеніяхъ обнимали всѣ царства природы и всѣ эпохи исторіи, и ежели бы мы знали всѣ подробности ученія древнихъ друидовъ о переселеніяхъ, мы бы, вѣроятно, нашли много любопытныхъ сближеній съ индійскимъ метемпсихозомъ. Перейдемъ теперь къ *кругу блаженства* и посмотримъ на него нѣсколько ближе.

Тр. XXXI. «Три главнѣйшія преимущества *круга блаженства: отсутствіе зла, отсутствіе нужды* и *отсутствіе смерти*».

Тр. XXXII. «Три вещи будутъ возвращены человѣку въ кругѣ *блаженства*: *первобытный духъ*, *первобытная любовь* и *первобытная память* — безъ этого для него не можетъ быть блаженства».

Тр. XLI. «Три вещи постоянно растутъ: *огонь или свѣтъ*, *прозрѣніе или истина*, *духъ или жизнь*. Эти вещи подконецъ возьмутъ верхъ надъ всѣми прочими, и тогда кругъ переселенія будетъ уничтоженъ».

Тр. XLII. «Три вещи постоянно уменьшаются: *мракъ*, *заблужденіе* и *смерть*».

Тр. XLIII. «Три вещи усиливаются со дня на день, и стремленіе къ нимъ становится все болѣе и болѣе: *любовь*, *знаніе* и *правда*».

Тр. XLIV. «Три вещи слабѣютъ со дня на день, и противорѣчіе имъ увеличивается все болѣе и болѣе: *ненависть*, *неправда* и *невѣжество*».

Тр. XLV. «Три полноты блаженства *въ кругѣ блаженства*: *имѣть свойство всякаго качества съ отличнымъ совершенствомъ*, *обладать всякаго рода геніемъ*, *съ совершеннымъ геніемъ любить всѣхъ любовью первой степени*, то-есть любовью Бога. Эти три вещи составляютъ полноту *неба* и *круга блаженства*».

Тр. XLVI. «Три необходимыя свойства Бога: *безконечность въ отношеніи къ самому себѣ*, *конечность по отношенію къ концу* и *полное согласіе со всякимъ состояніемъ существованія въ кругѣ блаженства*».

Таковъ любопытный обломокъ мудрости бардовъ. Уже изъ нашихъ небольшихъ извлеченій читатели могутъ видѣть его важное значеніе для исторіи развитія духа человѣческаго въ темный періодъ такъ-называемыхъ среднихъ вѣковъ, когда сложившіяся народности индо-европейскаго племени озарились первыми лучами христіанской религіи.

Очеркъ исторіи русской поэзіи, г. Милюкова.

Изданіе второе. Санктпетербургъ. 1858.

1858.

Историческія судьбы нашей старинной письменности и литературы сдѣлались теперь предметомъ общаго вниманія и дѣятельнаго изученія. Хотя медленно, но шагомъ прочнымъ идетъ впередъ молодая наука, разгоняя мало-по-малу фантастическій полумракъ, одѣвающій наше *доброе старое время*, съ его незатѣйливыми жизненными интересами и неприхотливыми требованіями. Явленіе въ высшей степени утѣшительное! Призраки старины, привлекательные въ своей неопредѣленной, туманной обстановкѣ, созданія разстроеннаго воображенія, навѣянныя непривѣтливою современностью, исчезаютъ при свѣтѣ наступающаго дня и даютъ дорогу новому, трезвому взгляду на прошедшее, равно чуждому и болѣзненнаго восторга при созерцаніи небывалыхъ красотъ старины и предубѣжденной, ни на чемъ не основанной, укоризны.

Дѣйствительно, только въ этой неопредѣленной рамѣ, при полной свободѣ фантазіи и воображенія, не стѣсняемыхъ никакими историческими фактами, при полномъ невниманіи къ жизненнымъ интересамъ современности — старое время и его формы принимаютъ тотъ привлекательный видъ, въ какомъ они являются передъ глазами нѣкоторыхъ нашихъ литературныхъ дѣятелей, колебля, быть можетъ, и безъ того шаткую, нравственную вѣру ихъ въ современнаго человѣка и тѣ начала, какія исповѣдуетъ онъ. Примиряя этотъ разладъ, наука возвращаетъ насъ изъ міра утопій къ дѣйствительности: въ этомъ ея живое современное значеніе, ея гражданскій, общественный смыслъ и характеръ. Признавъ одинъ разъ законное участіе ея въ жизненномъ дѣлѣ, человѣкъ уже заранѣе обезопасилъ себя отъ темныхъ вну-

шеній дурно-направленной фантазіи и больнаго воображенія: подозрительныя, лихорадочныя симпатіи къ старинѣ уступаютъ мѣсто спокойному вниманію къ историческимъ судьбамъ своего отечества, и жизнь идетъ своимъ чередомъ, не смущаемая призраками прошедшаго, съ сознаніемъ недостатковъ настоящаго и вѣрою въ очищеніе будущаго.

Такова связь современной науки съ жизнію. Она только-что зачинается... и умѣренность въ требованіяхъ является здѣсь, какъ законная необходимость, прямо вытекающая изъ настоящаго положенія науки и литературы въ нашемъ отечествѣ. Въ дѣлѣ всеобщаго благотворнаго освобожденія отъ авторитета прошедшаго — наука исторіи русской литературы принимаетъ самое дѣятельное участіе, наравнѣ съ исторіею государственныхъ и народныхъ учрежденій и, отчасти, съ исторіею развитія формъ религіозной жизни.

Правда, развитіемъ литературнымъ небогата — чтобъ не сказать совершенно бѣдна — древняя Русь, но уже одинъ трезвый взглядъ на причину этого явленія даетъ достаточный поводъ къ убѣжденію въ глубокой антинаціональности и нравственномъ вредѣ тѣхъ началъ, подъ вліяніемъ которыхъ исключительно совершалось развитіе литературнаго дѣла въ Россіи до Петра I-го. А это убѣжденіе кладетъ могильный камень на заманчивую, но вполнѣ ложную теорію о существованіи какого-то особаго просвѣщенія въ древней Руси и высокой цивилизаціи, присущей русскому народу, даже и въ тѣ времена, когда, по сказанію Нестора: «люди живяху звѣриньскимъ образомъ, живоуще скотьски: оубиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака оу нихъ не бываше» и т. д. (Лавр. с. с. 8). Отсюда новый, свѣтлый взглядъ на народную жизнь, отсюда и прямыя практическія мѣры, могущія дѣйствительно облегчить осложненныя вѣками житейскія отношенія.

Но работа только-что начинается: недостатки неизбѣжны; часть изъ нихъ будетъ, конечно, извинена временемъ и положеніемъ, въ какомъ находился изслѣдователь, другая падетъ на

его личную отвѣтственность; не во власти частнаго человѣка отвратить первое обстоятельство; второе, напротивъ, даетъ вольную свободу къ разномыслію, поправкѣ или отчетливой критикѣ.

Въ такомъ положеніи мы позволяемъ себѣ въ лѣтописяхъ исторіи отечественной литературы, на первый разъ, отмѣтить сочиненіе г. Милюкова, какъ трудъ замѣчательный во многихъ отношеніяхъ. Первое изданіе его явилось еще въ 1847 году и было встрѣчено общимъ вниманіемъ образованной публики. Нужно вспомнить господствовавшее направленіе критики того времени, чтобъ понять этотъ вполнѣ заслуженный успѣхъ: отвлеченныя понятія нѣмецкой эстетики и философіи Гегеля, бывшія въ такомъ ходу въ русской критикѣ 1837—1843 годовъ, отживали свое послѣднее время: на мѣсто мертвой буквы и сухихъ логическихъ формулъ спекулятивнаго взгляда на искусство, подымались вопросы общественные, слышалось горячее слово за права женщины, подвергались пересмотру понятія нравственныя и т. д.; вездѣ жизнь брала верхъ и отрывала критику отъ пустой рутины, выводя ее на широкое общественное поле... При такомъ живомъ характерѣ литературной критики абсолюты, эстетики, а съ ними и самая идея абсолютнаго искусства скоро должны были утратить всякое вліяніе на господствующія литературныя понятія; затѣмъ пришло строгое изученіе факта, подъ вліяніемъ новаго животворнаго метода, которымъ давно уже пользовалось естествовѣдѣніе, и это былъ отходный часъ старинной эстетики, ея *de profundis*: если обломки этого, нѣкогда стройнаго, зданія и уцѣлѣли гдѣ-нибудь до нашего времени, то это — или привычка, или упорная, отсталая старина, вѣчно живущая заднимъ числомъ и задними мыслями.

Книга г. Милюкова явилась въ свѣтъ именно въ эту горячую пору возбужденія и постановки общественныхъ вопросовъ въ литературѣ, когда наступалъ послѣдній разсчетъ съ пустыми, неприложимыми къ жизни мыслями и понятіями: она была живымъ, популярнымъ отвѣтомъ на новыя, зарождавшіяся требованія, и этой современности своего взгляда и своего направле-

нія обязана общимъ сочувствіемъ публики. Была, правда, еще и другая причина: посреди множества учебниковъ и руководствъ, по большей части плачевнаго свойства, составленныхъ изъ лоскутьевъ разныхъ цвѣтовъ и временъ, писанныхъ кайдановскимъ слогомъ, книга г. Милюкова рѣзко выдѣлялась своимъ изящнымъ изложеніемъ, идущимъ дружно рука-объ-руку съ образованнымъ вкусомъ и способностью анализа. Можно сказать безъ преувеличенія, что это была первая попытка систематическаго изложенія развитія русской поэзіи, отъ которой вѣяло жизнью дѣйствительною, не подрумяненной неумѣреннымъ родолюбіемъ, не пріодѣтой въ неуклюжую одежду византійскаго анахорета: здѣсь слышалось живое слово, живая мысль, проходившая чрезъ всѣ отдѣльные части и эпизоды, въ дѣйствительности, быть можетъ, не всегда органически связанные между собою. Дѣло автора, впрочемъ, ограничивалось только мастерскою передачею, популяризированіемъ того умственнаго капитала, который находился въ обращеніи въ русской литературѣ сороковыхъ годовъ: оригинальной мысли нѣтъ въ его сочиненіи; но кто знаетъ, какъ, погнавшись за оригинальностью, легко прійти къ тѣмъ заключеніямъ патологическаго свойства, которыми изобилуютъ произведенія нѣкоторыхъ *оригинальныхъ* русскихъ ученыхъ, тотъ легко пойметъ причину, по которой историкъ русской поэзіи въ 1847 году предпочелъ скромную работу приведенія въ порядокъ и систематическаго популярнаго изложенія накопленнаго литературнаго матеріала болѣе скользкому и не для всѣхъ доступному пути — самостоятельной разработкѣ фактовъ. Наука исторіи русской словесности еще такъ молода, такъ невоздѣлана, что, взявшись за разработку факта, нужно напередъ отказаться отъ попытки систематическаго изложенія не только общаго развитія письменности и поэзіи, но даже какого-нибудь отдѣльнаго періода ея; иначе эта система выйдетъ невѣрна или, по крайней мѣрѣ, односторонняя.

Книга г. Милюкова, какъ résumé succinct всего, сдѣланнаго на этомъ поприщѣ до 1847 года (время перваго ея изда-

нія), вполнѣ достигаетъ своей цѣли, и лучшее тому доказательство — во вниманіи публики, о которомъ мы говорили выше. Правда, и для своего времени она не чужда была нѣкоторыхъ недостатковъ, но ихъ заслоняла современность общаго направленія, изящная форма, живой, одушевленный взглядъ на предметъ; недостатки прошли почти незамѣченными, и сочиненіе съ этой стороны стоитъ внѣ всякихъ упрековъ. Теперь, чрезъ десять лѣтъ, оно является вторымъ изданіемъ. Въ десять лѣтъ, не смотря на многія неблагопріятныя обстоятельства, наука далеко шагнула впередъ. Что жъ авторъ? Внесъ ли онъ въ свой трудъ эти новыя приращенія? поставилъ ли его въ-уровень съ современнымъ состояніемъ науки? озаботился ли сообщить своей книгѣ тотъ интересъ современности, съ какимъ она встрѣчена была десять лѣтъ назадъ?

Не смотря на объявленіе заглавнаго листка, что второе изданіе *дополнено*, мы, не обинуясь, отвѣтимъ на вышепредложенные вопросы отрицательно. Направленіе, общій смыслъ книги — все еще живы и современны: наше время, можетъ быть, пошло далѣе; но основы остаются тѣ же, тѣ же чаянія, та же вѣра въ человѣка, въ его будущее, въ независимость отъ авторитета и т. д.; но въ прежней стройной системѣ уже замѣтны слабыя стороны: прежнія ошибки обнажились и кажутся тѣмъ разительнѣе, чѣмъ далѣе отходятъ отъ результатовъ, добытыхъ современною наукою; иное требуетъ поправки, дополненія, другое — коренной передѣлки, и вообще впечатлѣніе, выносимое изъ чтенія, оставляетъ мѣсто многимъ желаніямъ и требованіямъ, которымъ нѣтъ отвѣта въ книгѣ г. Милюкова.

Съ полнымъ сочувствіемъ къ направленію сочиненія, мы позволяемъ себѣ войти въ нѣкоторыя подробности и остановиться на тѣхъ пунктахъ, которые, по нашему крайнему разумѣнію, поставлены авторомъ въ ненадлежащемъ свѣтѣ и не соотвѣтствуютъ современному взгляду на науку и ея послѣднимъ выводамъ.

Начнемъ съ различія въ характерѣ древней и новой русской

поэзіи, неясное сознаніе котораго повело автора къ односторонневу взгляду на весь древній періодъ нашей поэзіи.

Литературная, поэтическая дѣятельность, возникшая у насъ вмѣстѣ съ петровскимъ переворотомъ и вслѣдствіе его, развилась не изъ народныхъ началъ, какъ у народовъ Западной Европы, а выросла и воспиталась на чужой почвѣ.

Систематическое преслѣдованіе, какому подвергался народный элементъ, сохранявшійся въ народной пѣснѣ, обычаѣ, обрядѣ въ теченіе цѣлыхъ десяти вѣковъ жизни, небогатой ни государственнымъ, ни общественнымъ развитіемъ, имѣло неизбѣжнымъ слѣдствіемъ то, что сфера народныхъ началъ въ эпоху петровской реформы, при постоянномъ приливѣ новыхъ мыслей, новыхъ запросовъ и требованій, оказалась слишкомъ узкою для выраженія общественныхъ интересовъ; она не могла подняться и стать въ уровень съ обществомъ, которое въ нѣсколько десятковъ лѣтъ переживало цѣлыя столѣтія; народный элементъ не пошелъ далѣе лубочныхъ суздальскихъ издѣлій, а между тѣмъ общественные вопросы назрѣвали и выходили въ литературу, пріодѣтые въ чужое платье, съ чужимъ именемъ и, всего чаще, съ явными признаками постройки по чужому образцу.

Во всей литературѣ нашей XVIII столѣтія только и было живаго, что вопросъ общественный; и вотъ, слѣдовательно, та точка зрѣнія, тотъ point de départ, который самъ собою представляется историку новой русской поэзіи и вообще литературы. Вопросъ общества, вопросъ жизни — это главное, а форма, пріемы творчества, самыя нравственныя понятія находятъ себѣ достаточное объясненіе во вліяніи того или другого французскаго поэта или философа. Немногія, и притомъ случайныя, исключенія не уничтожаютъ истины этой мысли: общее направленіе оставалось все-таки подражательнымъ и — въ добрый часъ! — оно принесло свои плоды: указало и отчасти исправило многія общественныя язвы и тѣ вопіющія антиноміи тогдашнему взгляду на человѣка, которыми полнилось еще русское общество послѣ татарскаго кнута и кулачнаго права, получившаго особенное раз-

витіе въ тяжелыя времена общественныхъ смутъ и неурядицъ. Итакъ, въ новой русской поэзіи, прежде всего вопросъ общественный; но то ли встрѣчаемъ мы въ древней, въ тѣ далекія времена, отъ которыхъ дошло къ намъ такъ немного поэтическихъ памятниковъ, когда ѣдкая сатира была чужда простому, наивному чувству простолюдина, когда ее употребляли въ дѣло только одни книжники, воспитанные на чтеніи разной схоластической ветоши, и то затѣмъ, чтобъ похулять злыхъ женъ да какое-нибудь *бѣсовское игрище съ срамными, студными плясками и нечестивымъ плясаньемъ*? Конечно, въ то время все, о чемъ говорилъ народъ, чему вѣрилъ онъ, было вопросомъ общественнымъ, народнымъ; но тогда это слово не имѣло того узкаго значенія, до котораго оно низошло теперь: его смыслъ былъ совершенно иной, и подводить подъ одинъ уровень старое съ новымъ значитъ, по малой мѣрѣ, навязывать старинѣ нѣчто ей непринадлежащее, чуждое; отнимать у ней то, что она дать можетъ, и требовать того, о чемъ и въ голову не заходило этой наивной старинѣ. Самъ авторъ чувствовалъ справедливость подобнаго разграниченія: «характеръ древней нашей поэзіи (говоритъ онъ) не могъ имѣть ничего общаго съ характеромъ новой, потому что одна выражала постоянный застой неподвижныхъ идей, а другая — безпрерывный прогрессъ быстраго развитія» (с. 6). Не находя такого развитія въ нашей древней поэзіи, не встрѣчая въ ней общественной мысли, постановки общественныхъ вопросовъ, авторъ ограничивается чисто-литературною, эстетическою оцѣнкою ея произведеній. Пріемъ совершенно вѣрный, но, по отношенію къ старинѣ односторонній! Односторонность его видна въ каждомъ сужденіи, въ каждой мысли автора, изъ которыхъ очень многія смѣлы и рѣшительны, но очень немногія выдерживаютъ строгую литературную критику. Можно сказать положительно: на сколько вѣрна и мѣтка оцѣнка произведеній новаго періода русской поэзіи, на столько слабъ и одностороненъ очеркъ древняго. За десять лѣтъ предъ этимъ явленіе это было очень понятно и законно, но теперь оно стоитъ въ

рѣзкомъ противорѣчіи и съ современнымъ состояніемъ науки и съ поправкою о *дополненіяхъ*, какія авторъ счелъ нужнымъ сдѣлать при новомъ изданіи своей книги. Уваженіе къ направленію и таланту г. Милюкова обязываетъ насъ подтвердить наше мнѣніе о его книгѣ подробнымъ разборомъ тѣхъ сторонъ ея, которыя на нашъ взглядъ оказываются не всегда вѣрными или, по крайней мѣрѣ, допускаютъ другой взглядъ и другое объясненіе.

Всѣ ошибки автора, по нашему мнѣнію, выходятъ изъ одной главной: изъ неправильнаго, устарѣлаго взгляда на сущность и характеръ поэзіи первобытной, народной и вообще всего такъ-называемаго эпическаго періода народной жизни, со всѣми жизненными его отправленіями.

Вглядитесь въ это *доброе старое время*, войдите въ его умственные и нравственные интересы, поймите эту жизнь тихую, безъ внутреннихъ потрясеній, безъ борьбы, и вы увидите, какъ мало она имѣетъ общаго съ тѣми началами, которыя вошли въ русское общество со времени петровской реформы! Нравственныя основы, которыми велась старинная русская жизнь, сложились еще въ эпоху незапамятную и съ теченіемъ времени приняли форму твердаго обычая, обряда, становившагося болѣе и болѣе непонятнымъ для народа. Этому смутному, но тѣмъ не менѣе обаятельному впечатлѣнію, какое производилъ на душу простолюдина темный миѳическій обрядъ или обычай, преданіе или народная пѣсня, всосавшая съ молокомъ матери и передаваемая свято и неприкосновенно изъ рода въ родъ, отъ отца къ сыну — старина обязана тою изумительною стойкостью, съ какою она противится новымъ началамъ, исподоволь входящимъ въ жизнь. Простолюдинъ неохотно оставляетъ обычай, закрѣпленный силою привычки и безотчетнаго вѣрованія, неохотно мѣняетъ свой темный заговоръ, или миѳическое заклинаніе, на раціональныя средства, добытыя успѣхами наукъ положительныхъ. Итакъ, чтобъ понять характеръ наивной старины, ея нравственные интересы, ея поэзію, недовольно одной эстетической, лите-

ратурной оцѣнки народнаго памятника: нужна еще оцѣнка нравственная, религіозная, необходимо стать въ близкое соприкосновеніе со всѣми разнообразными проявленіями народной жизни въ языкѣ, какъ полнѣйшемъ выраженіи народнаго взгляда на человѣка и окружающую природу, въ народной пѣснѣ, сказкѣ, пословицѣ, преданіи или же обычаѣ и обрядѣ, твердо устоявшемъ, вопреки многовѣковымъ жизненнымъ крушеніямъ и переворотамъ.

Народный языкъ и народная поэзія — вотъ два хранителя жизни народной, вотъ тѣ нравственные воспитатели, отъ которыхъ предки наши получали *силу* и *разумъ*, которые дѣлали ихъ гражданами извѣстной земли и извѣстнаго народа. И изслѣдователь, говоря о древнѣйшей народной поэзіи, долженъ прежде всего обратиться къ этимъ двумъ живымъ источникамъ. По нимъ, и только по нимъ однимъ, возможна реставрація первобытной народной жизни, ея поэтической стороны, выразившейся въ пѣснѣ, въ юридическомъ обычаѣ и т. д.

Этотъ неизживаемый нравственный капиталъ, на которомъ впослѣдствіи развиваются цивилизація, литература и искусство, мало-по-малу приводится къ сознанію современною наукою. Труды, совершенные на этомъ поприщѣ нѣмецкими учеными, нашли отголоски и въ нашей литературѣ, и теперь уже какъ-то странно читать, напримѣръ, слѣдующую эстетическую характеристику русской народной поэзіи, какую находимъ мы въ книгѣ г. Милюкова: «отличительный характеръ нашихъ пѣсенъ — глубокая тоска, проникнутая сердечнымъ страданіемъ, и отчаянный разгулъ, полный самозабвенія. Въ каждомъ словѣ ихъ слышны слезы горючія, которыя рѣжутъ душу, какъ булатный ножъ, видна тоска, которая падаетъ на сердце, какъ туманъ на сине море. Въ нихъ мать плачетъ, какъ рѣка льется, слезы сестры текутъ, какъ ручей; сердце дѣвушки милый другъ безъ солнца сушитъ, безъ мороза знобитъ, радости ея разноситъ буйный вѣтеръ по чисту полю; добрый молодецъ въ слезахъ родится, въ слезахъ крестится, и во всю жизнь, какъ былинушка въ чистомъ

полѣ, шатается его безпріютная головушка... Съ другой стороны, если въ пѣсняхъ нашихъ вы видите русскаго человѣка въ минуту веселости, то не ищите въ немъ того тихаго усладительнаго веселья, которое рождается отъ полноты душевнаго удовольствія и счастія: вы найдете въ немъ только буйную, дикую радость человѣка, который хочетъ забыть вѣчную печаль свою и потопить ее въ грубомъ упоеніи» (стр. 301); или выше: «Въ русскихъ пѣсняхъ и сказкахъ вы видите всю обширную и суровую сторону, которая досталась намъ въ удѣлъ, съ ея широкими полями, покрытыми травою шелковою и цвѣтками лазоревыми, съ ея дремучими лѣсами, колеблющимися отъ буйнаго вѣтра, съ ея сыпучими снѣгами, надъ которыми видѣется только черная ель, да бѣлая береза; гдѣ весной поетъ жаворонокъ на проталинкѣ, лѣтомъ краснѣетъ калина-малина и летаютъ ясный соколъ, сизый голубь, да лебедь бѣлая, а зимой все занесено снѣгомъ, и мертвая, печальная тишина прерывается только крикомъ вóрона, да свистомъ мятели. Въ этихъ пѣсняхъ и сказкахъ вы находите всю Русь: тутъ и свѣтлый Дунай, и тихій Донъ, и кормилица Волга и государь великій-Новгородъ и каменна Москва; тутъ разгульная жизнь волжскихъ разбойниковъ и удалые наѣзды храбрыхъ казаковъ... Словомъ, въ нашихъ пѣснях и сказкахъ вся донстровская Русь, съ ея ростомъ и дородствомъ, съ ея нравами и обычаями, съ ея вѣрою и повѣрьями, съ ея грустью и разгуломъ, Русь не напудренная, не нарумяненная схоластикою, но, какъ мать родила, съ своимъ удовольствіемъ и грубостью, съ своею рѣчью и ухватками» (стр. 26—27). И далѣе, все въ подобномъ же родѣ. Положимъ, что эти заманчивыя характеристики вѣрны; но даютъ ли онѣ понятіе о существѣ и свойствѣ нашей народной поэзіи? вводятъ ли онѣ насъ въ сферу народныхъ интересовъ? дѣлаютъ ли яснымъ для насъ значеніе пѣсни въ народной жизни? Конечно, нѣтъ! Народная поэзія, по своей основѣ и характеру, совершенно отлична отъ поэзіи, являющейся въ эпоху цивилизаціи подъ перомъ человѣка образованнаго. Тогда какъ послѣдняя, плодъ личнаго труда, сводится къ основѣ

эстетической и имѣетъ задачею или постановку извѣстнаго общественнаго вопроса, или воспроизведеніе какого-нибудь явленія изъ жизни природы и человѣка, первая, какъ произведеніе не одной какой-нибудь личности, а цѣлаго народа, обнимаетъ всѣ его нравственные и религіозные интересы: въ ней народъ находитъ дополненіе своему нравственному существованію, и она сопутствуетъ ему на всѣхъ путяхъ жизни отъ колыбели до могилы; какъ кормилица, она поучаетъ его простодушно и наивно, безъ задней мысли и затаеннаго хохота; она чужда всякой напередъ задуманной цѣли и далека отъ всякаго сатирическаго раздраженія. Такой просторъ, такая ширь не по плечу позднѣйшей поэзіи, выстраданной съ перомъ въ рукѣ и носящей отпечатокъ личнаго воззрѣнія поэта. Какъ все истинное, великое, народная поэзія не подходитъ подъ одну эстетическую или литературную мѣрку, она бьетъ черезъ край и захватываетъ всю жизнь со всѣми ея проявленіями. Тотъ, кто остановится на одной эстетической оцѣнкѣ ея, не возвысится до полнаго круга обнимаемыхъ ею интересовъ; онъ не пойметъ ея истиннаго значенія и представитъ характеристику, пожалуй, вѣрную, но одностороннюю и могущую повести къ ложнымъ заключеніямъ. «Народная поэзія (говоритъ одинъ изъ первыхъ знатоковъ ея) любитъ, чтобъ съ нею обращались дѣвственными руками; кто неосторожно и непочтительно касается ея, передъ тѣмъ она не раскроетъ своихъ страницъ и не повѣетъ на него своимъ завѣтнымъ благоуханіемъ. Въ ней кроется такой богатый родникъ развитія и цвѣта, что достаточно съ нею и не вполнѣ познакомиться, но только въ ея природной красотѣ, чтобъ быть вполнѣ удовлетворену» (Grimm's Deutsche Myth. p. XII). Мысли эти и у насъ не новость: онѣ неоднократно были высказываемы въ нашей литературѣ, и г. Милюковъ, не ходя далеко и взявъ въ пособіе одни русскіе источники, могъ бы расширить свой взглядъ на народную поэзію; но тогда, вѣроятно, ему пришлось бы переработать всю первую часть его «Очерка», обнимающую судьбы нашей древней поэзіи. Оставивъ дѣло въ томъ видѣ, въ какомъ оно существовало за десять лѣтъ передъ

этимъ, авторъ тѣмъ самымъ навлекъ на себя упрекъ не только въ односторонности, но и въ несовременности.

Одна ошибка рождаетъ другую. Узкая, ограниченная исключительно эстетическою стороною, точка зрѣнія на народную поэзію повела автора къ фактическимъ ошибкамъ и невѣрностямъ. Такъ, напримѣръ, имъ совершенно не понято значеніе языческой миѳологіи въ нашей народной поэзіи. Народная поэзія зарождается вмѣстѣ съ вѣрованіемъ и отражаетъ въ себѣ всѣ главнѣйшія его видоизмѣненія. Она сама — миѳологія, вѣрованіе; только вѣрованіе въ художественной формѣ, гласно исповѣдуемое устами цѣлаго народа, его *profession de foi* въ полнѣйшемъ смыслѣ этого слова. Состояніе религіознаго сознанія, выразившееся въ сказаніяхъ объ исполинахъ и богатыряхъ, кажется автору только необузданной фантазіей, исполненной преувеличенія и грубости. Оправляясь отъ устарѣлаго взгляда на сущность эпической поэзіи, онъ изумляется, находя въ нашихъ пѣсняхъ, вмѣсто *классическихъ* героевъ, «чудовищныхъ исполиновъ, олицетворяющихъ одну матеріальную силу, богатырей, которые еще въ дѣтствѣ кого за руку схватятъ, у того рука прочь, кого за голову возьмутъ, у того голова долой, которые мечутъ въ ротъ по цѣлой ковригѣ хлѣба и запиваютъ чашею зелена вина въ полтора ведра; у которыхъ голова съ пивной котелъ и такъ тверда, что на ней не шевелятся кудри отъ ударовъ пятидесятипудового чингалища, у которыхъ между плечъ укладывается косая сажень, а между глазъ калена стрѣла» и т. д. (стр. 36—37). Еслибъ авторъ захотѣлъ познакомиться съ народною поэзіею прочихъ родственныхъ намъ племенъ, преимущественно нѣмецкихъ, въ большей чистотѣ и свѣжести, нежели другія, сохранившихъ свои эпическія произведенія, то онъ нашелъ бы и тамъ тѣ же проявленія преувеличенія и грубости и, можетъ быть, еще въ громаднѣйшихъ размѣрахъ. Что-жь? неужели все это — произведеніе досужей фантазіи и праздняго воображенія, неимѣвшихъ основанія въ дѣйствительности?

Г. Милюковъ упускаетъ изъ виду то обстоятельство, что

типы классическихъ героевъ, какъ бы ни было высоко ихъ художественное значеніе, уже носятъ на себѣ слѣды литературной обработки и значительно отходятъ отъ той первобытной эпической свѣжести, какою отмѣчены суровые образы героевъ скандинавской Эдды и русскихъ богатырскихъ пѣсенъ. Эти послѣднія ближе къ природѣ, свѣжѣе и яснѣе выражаютъ несдержанныя стремленія народнаго сознанія, освободившагося изъ-подъ тяжелаго гнета космическихъ природныхъ силъ, которому такъ долго покорялось наивное, простое чувство простолюдина.

Вообще авторъ смотритъ на эпическую народную поэзію съ точки зрѣнія старинной теоріи искусства, нынѣ почти повсемѣстно отвергнутой. Оттого у него и пѣсня и сказка не памятники народной жизни, не произведенія, вышедшія непосредственно изъ условій быта народа, его религіи, взгляда на жизнь— словомъ, не живая часть духовной дѣятельности народа, въ правду и истину которой онъ вѣруетъ, какъ въ самого себя, и на которой онъ отводитъ душу отъ житейскихъ заботъ и печалей, а сочиненіе, составленное по задуманному плану подъ вліяніемъ часто внѣшнихъ, случайныхъ причинъ. Мы наклонны думать, что въ дѣйствительности авторъ былъ далекъ отъ этого устарѣлаго взгляда; но взглядъ этотъ проглядываетъ какъ бы ненарокомъ въ каждомъ его сужденіи о народной поэзіи. Изъ многихъ примѣровъ укажемъ на два, болѣе замѣчательные. Механическое (если можно такъ выразиться) раздѣленіе поэзіи на роды и виды, принятое на-слово нашими учебниками, высказалось въ сужденіи автора о нашихъ народныхъ сказкахъ: «Сказки наши (говоритъ онъ) отличаются тѣмъ же самымъ характеромъ, какъ и пѣсни, съ тою разницею, что въ нихъ, *какъ въ поэзіи эпической, требующей большаго общественнаго развитія* (??), всѣ недостатки должны были выразиться яснѣе и еще ярче показать безпладіе и грубость тогдашней жизни» (стр. 36). Не замѣчая въ нашихъ сказкахъ ничего иного, кромѣ фантазіи, исполненной преувеличеній и грубости, г. Милюковъ осуждаетъ

чудесную стихію ихъ за отсутствіе граціи. Это *чудесное* со времени Горація, до французскихъ псевдоклассическихъ теоретиковъ включительно, имѣло свое особое, самостоятельное мѣсто въ литературномъ кодексѣ: къ нему прибѣгалъ всякій, кто покушался на многотрудный подвигъ эпическаго пѣснопѣнія. Взглянувъ на него съ эстетической стороны, авторъ невольно становится на псевдоклассическую почву. Онъ забываетъ, что въ основѣ эпическаго *чудеснаго* лежитъ не одна пустая фантазія, а жизненный фактъ, народное вѣрованіе; иначе, какъ объяснить эту живучесть преданія, которая поддерживаетъ его цѣлыя тысячелѣтія вопреки успѣхамъ цивилизаціи и положительныхъ знаній? Если и теперь еще народныя массы вѣрятъ въ истину передаваемаго сказкой, пѣсней, то что же было въ ту отдаленную эпоху, которую мы называемъ доисторическою, въ вѣкъ народнаго эпическаго творчества, когда еще не существовало разлада между словомъ и мыслью, убѣжденіемъ и дѣломъ? Безъ этой внутренней цѣлости и жизненной вѣры въ самого себя гибнутъ всѣ умственные и нравственные его интересы, и жизнь сводится на тяжелую колею рутины и тупой привычки.

Чудесное — это та далекая старина, откуда для каждаго народа идетъ начало его обычаевъ и пѣсенъ. Безъ такой отдаленности исчезаетъ это *святилище* (Heiligthum), отъ котораго человѣкъ долженъ зависѣть: что народъ творитъ изъ своей собственной среды и чего касается рука его, то теряетъ уже для него свое *обаяніе*, становится обыкновеннымъ. Народъ не любитъ отдѣлять *чудесное* отъ *природнаго*. Его фантазія легко мирится и съ тѣмъ и съ другимъ; а вѣрованіе дѣлаетъ *чудесное* нашею собственностію, родовымъ наслѣдіемъ, которое съ незапамятныхъ годовъ принесли наши предки съ собою и укрѣпили за нами; мы владѣемъ имъ и снова передадимъ нашимъ потомкамъ. Только та пѣснь нравится намъ, которая всосана съ молокомъ матери и жила съ нами подъ одною кровлею; только тотъ обычай, то право вѣрно и безошибочно, которое взято изъ благочестивой старины.

Въ сказкахъ, однакожъ, *чудесная* стихія уже не имѣетъ этого живаго значенія. Сказка — не первобытная эпическая форма народной поэзіи, какъ пѣсня, гдѣ непосредственно высказывается народное вдохновеніе, а переходъ отъ поэзіи къ прозѣ, къ позднѣйшей повѣсти, роману, новеллѣ. Она еще коренится на старинной эпической основѣ, пользуется ея мотивами, такъ же чужда личнаго элемента, личной мысли разсказчика, но уже представляетъ бо́льшую или меньшую степень литературной обработки матеріала; поэтому-то въ ней открыто такое широкое мѣсто фантазіи разсказчика, которая, однако, никогда не сходитъ съ стариннаго эпическаго настроенія.

Взявъ въ разсчетъ эти обстоятельства, авторъ, нѣтъ сомнѣнія, взглянулъ бы на дѣло нѣсколько иначе и его эстетическаго чувства не оскорбило бы отсутствіе граціи *чудеснаго* въ нашихъ народныхъ сказкахъ.

Но всего ошибочнѣе мнѣніе автора о духовныхъ стихахъ: «Происхожденіе ихъ (говоритъ онъ) нѣсколько отлично отъ происхожденія народныхъ пѣсенъ и сказокъ: тѣ рождены цѣлымъ народомъ, служили памятникомъ его жизни, сдѣлались всеобщимъ достояніемъ, вездѣ пѣлись и разсказывались; стихи, напротивъ, не составляютъ самобытнаго созданія русскаго народа, но принесены къ намъ первоначально изъ Греціи и оставались чуждыми народу» (стр. 44). Это несправедливо. Если объемъ и распространеніе духовныхъ стиховъ дѣйствительно невелики (чему причина неразвитость нравственныхъ силъ народа и неумѣніе отстоять свои доисторическія преданія отъ напора чужеземныхъ началъ), если и основа ихъ по большей части перусская, то все же въ сложеніи ихъ нельзя отрицать участія народнаго творчества. Уже одно то, что они носятъ на себѣ явные слѣды народной миѳологіи и вообще народныхъ вѣрованій, достаточно свидѣтельствуетъ о близости ихъ къ народу. Это были, такъ-сказать, пробы стараго эпическаго народнаго генія на новой основѣ, вошедшей въ русскую литературу вмѣстѣ съ принятіемъ христіанства. Народное творчество, стѣсненное старинными книжниками

у себя дома, преслѣдуемое, какъ *бѣсовское, мірское дѣло*, нашло выходъ въ духовныхъ стихахъ, и отсюда это сочетаніе христіанскаго элемента съ языческимъ. То же явленіе, только въ гораздо бо́льшихъ размѣрахъ, мы замѣчаемъ и на Западѣ: не только извѣстная книга монаха Якова *de Voragine Legenda aurea*, но и другія поэтическія произведенія нѣмецкой и французской средневѣковой старины представляютъ тому лучшее доказательство. Даже образовательныя художества, какъ скульптура и живопись, носятъ на себѣ рѣзкіе слѣды этого двоевѣрія: въ типахъ Мадонны видны слѣды *вѣщихъ* женъ и валкирій, и вообще къ готовому старинному эпическому матеріалу прилагался только новый ярлыкъ, новое названіе. Нѣкоторыя наши *отческія* книги имѣютъ тотъ же характеръ.

Но перенесемся на точку зрѣнія автора и посмотримъ, на сколько выдержанъ его взглядъ, на сколько онъ вѣренъ самому себѣ. Мы выше имѣли случай замѣтить, что эстетика Гегеля и правой стороны его школы потеряла всякое значеніе предъ геніальными открытіями, совершонными въ области искусства и литературы трудами Вильгельма Гумбольдта, братьевъ Гриммъ и ихъ многочисленныхъ послѣдователей. Для полной философіи искусства еще не настало время, а личныя умозрѣнія, какъ бы ни были они логичны и послѣдовательны, опровергаются первымъ фактомъ, взятымъ изъ дѣйствительности. Г. Милюковъ, поставивъ критеріумомъ для своихъ литературныхъ приговоровъ —эстетику, вмѣстѣ съ тѣмъ принималъ на себя отвѣтственность въ выдержанности своихъ эстетическихъ воззрѣній и ихъ согласіи съ современнымъ состояніемъ науки. Отъ бо́льшаго или меньшаго выполненія этого условія зависѣло все литературное достоинство первой части его «Очерка». Но, уклонившись отъ правильнаго взгляда на древнѣйшій періодъ народной жизни, авторъ уклонился и отъ здравыхъ эстетическихъ понятій. Мертвая логическая схема Гегеля была, очевидно, далека его, человѣка живого, слѣдившаго всюдѣ жизненные вопросы; но такъ какъ жизненныхъ вопросовъ, по его мнѣнію, не оказывалось въ

нашей древней поэзіи, то онъ долженъ былъ прибѣгнуть къ началамъ отвлеченной эстетики, и изъ этой помѣси гегелизма и своего личнаго живаго чувства составилъ какую-то *juste milieu*, которая по первому впечатлѣнію судитъ очень рѣшительно и говоритъ очень много, но очень немногое. Печальнымъ слѣдствіемъ этого было то, что самыя элементарныя понятія, каковы раздѣленіе поэзіи на роды и виды, ихъ связь и преемственность остановились у автора на степени смутнаго ощущенія неразграниченными, несознанными. Онъ постоянно употребляетъ слова: *поэзія эпическая*, *драма*, *лирика*, *эпосъ*, придавая имъ значеніе, какое можно видѣть въ учебникахъ профессора Зеленецкаго, гдѣ дѣленія и рубрики дошли до изумительныхъ тонкостей. На поэзію онъ смотритъ какъ на нѣчто механическое, не живую, а *отвлеченную* силу. Пѣсню онъ относитъ къ поэзіи лирической, сказку — къ эпической, а о значеніи, связи и преемственности этихъ литературныхъ формъ нѣтъ и помину.

Что же касается отсутствія живыхъ произведеній въ нашей старинной литературѣ, гдѣ бы выражалась общественная мысль, движеніе, то и это несправедливо. Авторъ позабылъ цѣлый отдѣлъ запрещенной литературы, книгъ *отреченныхъ*, апокрифовъ, которыхъ нельзя упрекнуть въ косности, застоѣ или отчужденіи отъ умственныхъ интересовъ. Они одни только и были представителями движенія русской мысли, загнанной непрошеными гостями въ скиты и вертепы лѣсные; они были живымъ протестомъ противъ насилій византійской схоластики и книжной *чади*, и этотъ протестъ иногда отливался въ такую поэтическую народную форму!

Мы думаемъ, что ошибки автора были слѣдствіемъ узкаго воззрѣнія на существо эпической народной поэзіи. Онъ такъ безпристрастно смотритъ на предметъ, что не поддается тѣмъ искусительнымъ грезамъ, которымъ неумѣренно предаются наши каноническіе историки литературы, умѣющіе съ изумительною ловкостью отыскивать глубокій смыслъ и великое значеніе тамъ,

гдѣ ихъ нѣтъ и быть не могло [1]); но дорога, избранная имъ весьма послѣдовательно, само собою привела его къ неправильнымъ заключеніямъ. Оттого, прежде всего, въ первой части его «Очерка» мы находимъ противоестественный порядокъ, или, лучше, не находимъ никакого порядка: сперва говорится объ историческихъ сказаніяхъ Нестора, потомъ о «Словѣ о Полку Игоревѣ» и «Сказаніи о мамаевомъ побоищѣ» и, наконецъ, о народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ.

Народная поэзія, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, составляетъ основу, грунтъ тѣхъ немногихъ произведеній нашей литературы, въ которыхъ видна жизнь дѣйствительная. Автору прежде всего слѣдовало привести въ сознаніе этотъ народный капиталъ и потомъ слѣдить за его появленіемъ и измѣненіемъ въ литературѣ и народной жизни. Тогда и сказанія Нестора и «Слово о Полку Игоревѣ» получили бы свой надлежащій смыслъ и значеніе: оба они, особенно послѣднее, рѣшительно необъяснимы внѣ круга народной поэзіи. Избравъ противоестественный порядокъ, авторъ пришелъ и къ противоестественнымъ заключеніямъ: поэтическую сторону хроники Нестора, а равно и «Слово о Полку Игоревѣ», онъ отнесъ къ послѣднимъ остаткамъ героическаго духа, занесеннаго къ намъ воинственными скандинавскими выходцами. Мы нисколько не намѣрены отрицать непосредственнаго вліянія скандинавскаго элемента на историческія сказанія Нестора, но не видѣть въ нихъ ничего кромѣ вліяній, ничего народнаго — этого не дозволяетъ намъ и изученіе Нестора, и современное состояніе науки, уже пришедшей касательно этого вопроса къ такимъ прочнымъ и положительнымъ результатамъ. Въ «Словѣ о Полку Игоревѣ» дѣло еще яснѣе. Все произведеніе отъ начала до конца пропитано народною миѳологіей, вѣрованіемъ и преданіемъ. Неужели скандинавское вліяніе было до того неотразимо, до того сильно, что положило неиз-

1) Послѣдній и самый блистательный примѣръ по этой части мы встрѣтимъ въ «Русской Бесѣдѣ» за прошедшій годъ, кн. 4, крит. стр. 102.

гладимую печать на вѣковую духовную дѣятельность народа? Мы не усомнимся отвѣчать на это отрицательно. Сходство, какъ бы ни было оно велико и поразительно, еще не доказываетъ вліянія: оно можетъ итти отъ временъ до-историческихъ, отъ эпохи племеннаго единства; иначе поразительное сходство славянскихъ и нѣмецкихъ народныхъ сказокъ пришлось бы объяснять простымъ заимствованіемъ или вліяніемъ одной народности на другую.

Какъ велика и обаятельна сила народности, это доказываетъ лѣтопись того же монаха Нестора. Воспитанный подъ вліяніемъ византійской книжной учености (перешедшей къ намъ чрезъ Болгарію), въ дали и отчужденіи отъ свѣта и всего мірскаго, языческаго, онъ, однако, не могъ устоять противъ народнаго элемента и внесъ въ свою *Повѣсть временныхъ лѣтъ* родныя сказки и преданія, которыя нашъ авторъ принялъ за скандинавскія. Этимъ поспѣшнымъ заключеніемъ онъ лишилъ Нестора лучшаго достоинства, замѣнить котораго не могла даже та картинность, съ какою онъ разсматриваетъ достоинства его историческихъ сказаній.

Разборъ «Слова о Полку Игоревѣ» страждетъ тѣми же недостатками. Вопросъ о значеніи и отношеніи народнаго элемента къ литературной обработкѣ, самый существенный вопросъ, остался нетронутымъ и даже незамѣченнымъ; взамѣнъ этого авторъ предлагаетъ очень остроумное сближеніе памятника съ «Сказаніемъ о Мамаевомъ побоищѣ» — и отдаетъ *эстетическое* преимущество первому. И то, по крайней мѣрѣ, хорошо!

Очеркъ схоластической поэзіи очень остроуменъ и живъ; но онъ бы выигралъ еще болѣе въ истинѣ, еслибъ авторъ сумѣлъ стать на историческую точку зрѣнія и понять современное значеніе схоластической литературы и ея отношенія къ окружающему обществу. Въ одномъ только мы позволимъ себѣ небольшое разногласіе съ авторомъ: онъ дѣлаетъ Симеона Полоцкаго защитникомъ старины, который, въ своей *комидіи-притчѣ о Блудномъ сынѣ*, въ живомъ примѣрѣ послѣдняго караетъ всякія

покушенія на нововведенія, всякое стремленіе къ новому порядку вещей (стр. 58). Но съ этимъ остроумнымъ объясненіемъ едва-ли можно безусловно согласиться, вспомнивъ, что Симеонъ Полоцкій былъ представитель западнаго вліянія, воспитанникъ Польши и іезуитовъ, и наконецъ другъ Сильвестра Медвѣдева.

Сдѣлаемъ еще одну замѣтку, относящуюся къ первой половинѣ «Очерка»: причину малаго развитія народной поэзіи авторъ видитъ во вліяніи татарскаго ига. Это едва-ли справедливо. Скорѣе это должно приписать византійскому началу и одностороннему направленію нашей книжной дѣятельности въ до-петровское время. Самъ авторъ очень справедливо замѣчаетъ, что «поэзія древнихъ, какъ памятникъ язычества, считалась еретическимъ *кощунствомъ*, не только ничтожнымъ и безполезнымъ, но даже опаснымъ и вреднымъ. Свѣтская поэзія казалась грѣховною; ее преслѣдовали и гнали какъ язву» (стр. 3). Понятно, что при такомъ секвестрѣ, при постоянномъ страхѣ сказать и сдѣлать что-нибудь преступное, то есть мірское, народное, не было мѣста литературному развитію народной поэзіи и жизненныя силы должны были отупѣть и заглохнуть и помимо татарскаго ига.

Перейдемъ ко второму отдѣлу книги г. Милюкова. Здѣсь разногласія наши съ авторомъ будутъ немногочисленны.

Между новою русскою поэзіей, произведеніемъ петровской реформы, и старинною, воспитанною на широкой народной основѣ, нѣтъ почти никакого средняго связующаго термина, и оттого-то между ними такъ мало общаго. Западныя новеллы и повѣсти, перешедшія къ намъ чрезъ Польшу, восточныя сказки въ болгарскихъ и русскихъ переводахъ и передѣлкахъ стоятъ какъ-то особо, болѣе примыкая къ древней нашей литературной дѣятельности, чѣмъ къ новой. Народныя русскія начала, изрѣдка въ нихъ пробивавшіяся, стѣсненныя въ своемъ развитіи византійскимъ элементомъ, оказываются узкими предъ новыми народившимися потребностями и не даютъ отвѣта на запросы молодаго общества. Отсюда, вмѣстѣ съ проникавшимъ образованіемъ, яв-

лается и особая литература, литература общества, равно отличная и отъ ходячей народной пѣсни и сказки, и отъ схоластическихъ издѣлій нашихъ старинныхъ книжниковъ. Понятно, что при такихъ обстоятельствахъ жизненные общественные вопросы должны были выдвинуться на первый планъ, съ ними вмѣстѣ какъ бы выростаетъ и нашъ авторъ: онъ разомъ становится на твердую почву и предлагаетъ по временамъ такія мѣткія характеристики нашихъ писателей прошлаго и нынѣшняго столѣтій, что мы охотно миримся съ нимъ, не смотря на слабость первой части его «Очерка».

И здѣсь, однакожъ, дѣло не обошлось безъ нѣкоторыхъ невѣрностей и преувеличеній. Отмѣтимъ изъ нихъ только главнѣйшія.

У автора есть своя idée fixe, значительно мѣшающая спокойному, ясному разсмотрѣнію дѣла: своему сочувствію къ сатирическому направленію русской литературы прошлаго вѣка, доведенному до крайности, авторъ приноситъ въ жертву всѣ другія проявленія умственной и литературной дѣятельности. Съ какимъ-то затаеннымъ чувствомъ насмѣшки смотритъ онъ на нашихъ классиковъ XVIII вѣка, на Сумарокова, Княжнина, Хераскова. Если сатира перваго диктуетъ ему нѣсколько сочувственныхъ строкъ (стр. 89—92), то эстетика влечетъ его въ другую сторону (85—86). Между этою Сциллою и Харибдою онъ, повидимому, не знаетъ, какъ управить свой челнъ отъ водоворота, и отсюда эта неспокойная рѣчь, это неумѣнье стать на точку зрѣнія современниковъ и эти не всегда вѣрные приговоры. Такъ, упустивъ изъ виду то обстоятельство, что мѣркою эстетической критики нашего времени нельзя мѣрить такихъ писателей, какъ Княжнинъ, Херасковъ и другіе, онъ засудилъ ихъ на полное забвеніе, между тѣмъ, какъ современники ихъ думали иначе и смотрѣли на нихъ не только съ уваженіемъ, но даже съ нѣкотораго рода благоговѣніемъ. Положимъ, что мы далеко ушли отъ Княжнина и другихъ; но въ правѣ ли исторія литературы пренебрегать судомъ современниковъ и не покажется ли страннымъ

эта борьба современнаго историка съ тѣнями давно отжившихъ литературныхъ дѣятелей? Неумѣніе стать на историческую точку зрѣнія сообщило всему сочиненію какой-то неровный характеръ, колеблющійся между исторіею и полемическимъ памфлетомъ. Сверхъ этого, его эстетика какъ-то не вяжется съ общественнымъ началомъ, развитіе котораго онъ постоянно слѣдитъ. Онъ принужденъ бываетъ разбивать характеристику писателя на нѣсколько рубрикъ, оставлять одного для другого и потомъ снова обращаться къ первому (стр. 84—82). Это, впрочемъ, уже недостатокъ системы. Сатирическому направленію нашей литературы придано авторомъ такое значеніе, какого оно не имѣло и не могло имѣть по условіямъ общественной жизни того времени. Дѣйствительно, патологическій осмотръ, по словамъ одного писателя, сдѣлался господствующимъ направленіемъ новой русской литературы. Это было новое отрицаніе существующаго порядка вещей, поднявшееся съ глубины пробужденнаго сознанія, крикъ ужаса каждаго поколѣнія, которое боится стать на одну доску съ изнанкою человѣческаго рода, выводимою на сцену нашею сатирой. Въ этой иронiи, гдѣ ничто не пощажено, даже самая личность сатирика — въ этомъ бичеваніи заключается для насъ радость мести и мрачное утѣшеніе; этимъ смѣхомъ мы разрываемъ связь, какая существуетъ между нами и этими созданіями, которыя не умѣютъ ни отстоять варварства, ни принять цивилизацію и которыхъ такъ много на поверхности русскаго общества. Но какъ ни важно значеніе сатиры въ нашей литературѣ, ея усилія остались безполезны для жизни; и теперь, по прошествіи столѣтія, мы стоимъ съ тѣми же вопросами и требованіями, которымъ жизнь не дастъ удовлетворенія и отвѣта. Ясно, что сатира не имѣла для нашего общества того широкаго значенія, какое дастъ ей нашъ авторъ. Но это было уже замѣчено и другими критиками, и потому мы не будемъ останавливаться на этомъ предметѣ; замѣтимъ только, что нигдѣ сатирическій элементъ не проявляется такъ сильно, какъ въ нашей журналистикѣ второй половины прошлаго вѣка. Обративъ на нее вни-

маніе, авторъ могъ бы значительно расширить свой взглядъ и, можетъ быть, избѣжалъ бы тѣхъ голыхъ приговоровъ и заключеній, къ какимъ по необходимости долженъ былъ прибѣгать для того, чтобъ сообщить своему «Очерку» значеніе системы.

Кромѣ общественнаго вопроса, находившаго для себя прилічное выраженіе въ сатирѣ, кромѣ пользы практической, въ нашей прежней литературной дѣятельности можно замѣтить особое направленіе, которое можно было бы назвать направленіемъ забавы, удовольствія. Такова, напримѣръ, дѣятельность извѣстнаго Арзамасскаго Общества и другихъ. Къ сожалѣнію, авторъ не обратилъ вниманія на эту рыцарскую сторону нашей прежней литературы, изъ школы которой вышли сначала Карамзинъ, а потомъ Жуковскій и Пушкинъ.

О романтическомъ элементѣ, внесенномъ будто бы въ нашу литературу Жуковскимъ, мнѣніе автора ничѣмъ не отличается отъ общепринятаго. Вездѣ говоритъ онъ о романтическихъ *идеяхъ* нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ (стр. 129, 133), съ которыми познакомилъ русскую публику ихъ талантливый переводчикъ. Сущность этихъ *идей* (?) все та же: «грусть о непрочности жизни и вѣчное стремленіе къ иному существованію души, скорбящей по дѣйствительному и стремящейся къ идеальному». Все это вѣрно, но нисколько не объясняетъ дѣла. Всѣ комментаріи романтизма Жуковскаго сами не всегда свободны отъ его вліянія: за ними всегда остается что-то недосказанное и неудопонимаемое.

Романтизмъ и наше сочувствіе къ нему объясняются, по нашему мнѣнію, всего лучше *родствомъ* его съ элементами нашей народной поэзіи, на которой воспитались и воспитываются многія поколѣнія. Романтизмъ прежде всего не *идея*, а чувство или то смутное обаятельное состояніе, въ какомъ находится всякій, съ вѣрою внемлющій родной легендѣ или сказкѣ, всосанной имъ у груди матери.

Мысль въ сочиненіяхъ Жуковскаго болѣе чѣмъ слаба: въ нихъ почти нѣтъ никакой мысли, строго задуманной. Въ нѣкоторыхъ переводахъ своихъ онъ старается иногда еще возбудить

мысль (часто вопреки автору), и тогда стихотвореніе выходитъ мелко и, во всякомъ случаѣ, далеко не достигаетъ желаемаго...

При оцѣнкѣ Пушкина г. Милюковъ, повидимому, даетъ перевѣсъ эстетикѣ; оттого во второмъ періодѣ его дѣятельности онъ слѣдитъ только вліяніе Байрона, оставляя въ сторонѣ другіе, болѣе важные вопросы, какъ-то: отношеніе его къ окружающему обществу, его взглядъ на жизнь и на общественныя условія.... Между тѣмъ, какъ это самая живая, самая поучительная сторона пушкинской дѣятельности; авторъ самъ чувствовалъ это, давъ въ своемъ «Очеркѣ» мѣсто такому остроумному и вполнѣ справедливому объясненію того разлада между Пушкинымъ и его читателями, который наполняетъ послѣднія скорбныя страницы его жизни. Но самое главное разногласіе наше съ авторомъ «Очерка» будетъ по вопросу о литературномъ и общественномъ значеніи Гоголя. Кажется, пора перестать изумляться крутому повороту въ поэтической дѣятельности Гоголя, начавшемуся съ извѣстной *Переписки* его. Что бы ни говорили его почитатели, а между «Мертвыми душами» (т. I) и «Перепиской» нѣтъ никакого жизненнаго противорѣчія. Въ «Мертвыхъ душахъ» онъ былъ весь поглощенъ предметомъ, разнообразіемъ закулисной русской жизни. Онъ рисовалъ какъ художникъ, не имѣя времени одуматься и пораскинуть своимъ умомъ и разумомъ о смыслѣ картинъ, которыя такъ стройно выходили изъ-подъ его кисти и ложились на бумагу... «Выбранныя мѣста изъ Переписки» были плодомъ этого раздумья. По природѣ художникъ объективный, Гоголь никогда не былъ человѣкомъ мысли, тѣмъ болѣе мысли современной, оттого вы напрасно будете искать въ немъ той горячей любви къ народу и тѣхъ горькихъ слезъ о его недостаткахъ и заблужденіяхъ, которыя видитъ г. Милюковъ. Въ немъ вы найдете художественные типы Собакевичей, Коробочекъ, Маниловыхъ — словомъ, поэтическую картину русскаго закулиснаго міра — и только! «Этой сознательности соціальной идеи, глубины взгляда на общество и теплоты гуманической любви къ людямъ», которыя видитъ въ немъ авторъ,

вы не отыщете, если только захотите прямо взглянуть на скорбные остатки предсмертной дѣятельности этого величайшаго русскаго художника.

Какое же общее заключеніе сдѣлаемъ мы объ «Очеркѣ исторіи русской поэзіи» г. Милюкова?

Лишенное строгой системы, связанное лишь единствомъ мысли (и то односторонней), а не единствомъ предмета, не чуждое фактическихъ ошибокъ и неточностей, это небольшое сочиненіе — все же пріятное явленіе въ современной русской исторической литературѣ, бѣдной хорошими учебниками и страдающей отсутствіемъ всякаго здороваго направленія. Посреди отсталыхъ теорій и взглядовъ, составленныхъ подъ вліяніемъ мрачныхъ славянскихъ сновидѣній и восточной схоластики, книга г. Милюкова пріятно поражаетъ своею независимостію отъ авторитета прошедшаго и трезвымъ, непредубѣжденнымъ взглядомъ на вещи. Во уваженіе этихъ рѣдкихъ, въ наше время, достоинствъ, мы и рѣшились указать на тѣ стороны книги, которыя, по нашему крайнему разумѣнію, оказывались не всегда согласны съ настоящимъ состояніемъ науки или допускали разномысліе.

О нравственной стихіи въ поэзіи.

Соч. Ореста Миллера.

1858.

Съ того времени, какъ исторія литературы впервые получила право гражданства въ наукѣ, и до настоящей минуты, когда рѣдкая изъ отраслей человѣческаго вѣдѣнія пользуется такимъ общимъ почетомъ и вниманіемъ, какъ она, — многое измѣнилось и въ самыхъ воззрѣніяхъ ея, и въ матеріальномъ ея благосостоянія. Каждый день приноситъ что-нибудь новое. Съ увеличеніемъ числа фактовъ расширился самый взглядъ историка, и старыя, общеизвѣстныя явленія какъ бы обновились и приняли

ный видъ. Стоитъ только взглянуть на новѣйшіе многочисленные труды нѣмецкихъ ученыхъ сравнительно съ трудами ихъ предшественниковъ, чтобы убѣдиться, какъ далеко шагнула наука впередъ въ какія-нибудь десять лѣтъ, подъ вліяніемъ новаго животворнаго сравнительно-историческаго метода.

Отсюда первый вопросъ, представляющійся нашему уму, когда мы имѣемъ дѣло съ трудомъ ученаго содержанія, есть вопросъ о *современности*. Мы требуемъ — и имѣемъ на то полное право, — чтобы сочинитель былъ современенъ своей наукѣ и хорошо знакомъ съ ея наличнымъ капиталомъ. Всякое противорѣчіе только тогда имѣетъ смыслъ и значеніе, когда оно основано на знаніи того, чему противорѣчитъ, и только уполномоченное такимъ знаніемъ оригинальное убѣжденіе автора получаетъ вѣсъ и право на вниманіе, а внѣ его оно относится къ области куріозовъ на ряду съ доморощеною философіей Кифы Мокіевича или судьи, доходившаго *собственнымъ умомъ* до сотворенія міра. Относительно г. Миллера такое требованіе тѣмъ законнѣе, что предметъ его труда — не какое-нибудь спеціальное изслѣдованіе частнаго историческаго явленія, а общій взглядъ на развитіе нравственнаго идеала въ поэзіи; это не пустая игра въ имена, а задача, достойная полнаго вниманія и серіознаго изученія.

Къ сожалѣнію, и съ этой стороны сочиненіе г. Миллера оказывается безотвѣтнымъ передъ нашимъ справедливымъ и законнымъ требованіемъ. Какъ нарочно, онъ сумѣлъ выбрать себѣ такого руководителя, который скорѣе всѣхъ прочихъ могъ подать поводъ къ соблазну и ввести въ искушеніе. Я разумѣю Карла Розенкранца, ученика и послѣдователя Гегеля. Назадъ тому три года, онъ издалъ сочиненіе подъ заглавіемъ: «Die Poesie und ihre Geschichte. Eine Entwickelung der poetischen Ideale der Völker». Это не иное что, какъ переработка его стариннаго (1832) руководства ко всеобщей исторіи поэзіи: матеріалъ остался почти тотъ же, измѣнился только планъ и взглядъ на исторію поэзіи вообще. Но измѣнился едва ли къ лучшему.

Не смотря на увѣренія г. Миллера[1]), будто сочиненіе Розенкранца замѣчательно именно тѣмъ, что представляетъ въ исторіи поэзіи каждаго отдѣльнаго народа послѣдніе выводы изъ всѣхъ, доселѣ совершенныхъ научныхъ изслѣдованій въ ея области, — мы, не обинуясь, позволимъ себѣ отказать въ этомъ качествѣ книгѣ нѣмецкаго ученаго.

Не отрицая его обширныхъ свѣдѣній и основательнаго вообще знакомства съ новѣйшею литературою предмета, можно сказать положительно, что это знакомство обнаружилось на самой книгѣ лишь богатымъ количествомъ цитатъ, а не дѣйствительно современнымъ взглядомъ на предметъ, и причина этого заключается въ общемъ характерѣ и направленіи всей литературной дѣятельности Розенкранца. Наслѣдовавъ отъ *учителя* уваженіе къ системѣ, къ подведенію всего разнообразнаго содержанія творческой дѣятельности человѣка подъ нѣсколько общихъ рубрикъ, всегда случайныхъ и узкихъ въ отношеніи къ богатому матеріалу, Розенкранцъ раздѣлилъ всю исторію поэзіи на группы, изъ которыхъ каждая, имѣя свои дальнѣйшія подраздѣленія, развиваетъ особый идеалъ.

За общимъ введеніемъ, которое всего менѣе показываетъ вниманіе автора къ послѣднимъ результатамъ науки, онъ вступаетъ въ самую исторію поэзіи и различаетъ въ ней три главнѣйшихъ идеала: красоты, мудрости и свободы. Идеалъ красоты, по его мнѣнію, выражается всего полнѣе у народовъ первобытныхъ (ethnische Völker), къ которымъ принадлежатъ, между прочими, греки, римляне, славяне, кельты и древне-германцы; идеалъ мудрости находитъ свое выраженіе у группы народовъ теистическихъ (theistische Völker), каковы: евреи, арабы, персы и турки; наконецъ, идеалъ свободы принадлежитъ народамъ христіанскаго міра, къ которымъ относятся византійцы, русскіе (!), племена романскія и германскія. Нѣтъ нужды, кажется, долго останавливаться на совершенной произвольности

1) Стр. 10 и 105 книги г. Миллера.

такого логическаго построенія по чисто-внѣшнимъ признакамъ. Несостоятельность и случайность его видна изъ всего дальнѣйшаго изложенія исторіи поэзіи. Довольно замѣтить, что самая мысль объ идеалѣ, какъ объ извѣстномъ отвлеченномъ принципѣ, развивающемъ народомъ, рѣшительно противорѣчитъ его живому характеру: прямо исходя изъ жизни, онъ ближе и чувствительнѣе касается жизненныхъ интересовъ народа, чѣмъ полагаетъ нашъ нѣмецкій мыслитель, и никогда не можетъ низойдти на степень одной абстрактной мысли, потому что всякая отвлеченность противна живому народному организму, особенно въ эпоху его юности.

Системомапія заслонила отъ ученаго правильный взглядъ на предметъ, и ему какъ бы осталось непонятнымъ живое отношеніе поэзіи къ народной жизни. Оттого для всей исторіи онъ формулировалъ три главныхъ идеала, изъ которыхъ каждый съ равнымъ успѣхомъ можетъ быть относимъ ко всѣмъ народамъ и племенамъ, но ни одинъ не силенъ дать достаточнаго объясненія творческой дѣятельности народа. Это идеалы случайные, не существенные, идеалы, принадлежащіе системѣ, но не племенамъ и народамъ, къ которымъ они пріурочены. Такъ, напримѣръ, *идеалъ мудрости* относенъ только къ народамъ текстическимъ, тогда какъ у всѣхъ племенъ и народовъ мы встрѣчаемъ его въ большей или меньшей степени. Наивный взглядъ простолюдина на природу и ея явленія, находящій полное выраженіе въ свѣжихъ эпическихъ формахъ пословицы, примѣты, загадки, поговорки и т. д., — эта «старина стародавняя», по мѣткому выраженію русской пѣсни, — развѣ не та же мудрость, капиталомъ которой такъ упорно-долго ведется жизнь народа, вопреки притоку образованности и цивилизаціи? И что значитъ самый *идеалъ мудрости*? Если этимъ именемъ имѣлось въ виду обозначить особое поэтическое направленіе къ возведенію всѣхъ явленій жизни въ одинъ основной принципъ, то не то же ли явленіе мы находимъ у грековъ въ ихъ древнѣйшей поэтической философіи, у

кельтовъ въ ученіяхъ друидовъ и бардовъ[1]) и у всѣхъ младенческихъ народовъ въ ихъ обычаяхъ, религіозныхъ и юридическихъ учрежденіяхъ?

Способность рефлексіи и мысли не есть исключительная принадлежность одного какого-нибудь народа или племени, и хотя нѣкоторыя условія могутъ дать ей особое, исключительное развитіе, но она всегда останется способностію, прирожденною человѣку. То же самое должно сказать и о двухъ другихъ идеадахъ Розенкранца, — идеалахъ красоты и свободы: высокимъ созданіямъ христіанскаго средневѣковаго искусства и поэзіи мы не можемъ отказать ни въ поразительной красотѣ, ни въ глубокомъ назидательномъ, или, пожалуй, мудромъ дѣйствіи на душу современниковъ; равнымъ образомъ разверните Лукреція или другихъ поэтовъ стоической школы, и вы увидите, что у нихъ тотъ же идеалъ (sacer orbis amor), который Розенкранцъ отдѣлилъ для эпохи позднѣйшей.

Пожертвовавъ системѣ дѣйствительнымъ содержаніемъ, ученый пренебрегъ и необходимымъ разграниченіемъ между поэзіею народной и позднѣйшею дѣятельностію образованнаго поэта-литератора. Нечего и говорить, что смыслъ и значеніе эпическаго періода народной жизни остались при этомъ совершенно непоняты: отвлеченный мыслитель пребылъ вѣренъ системѣ *учителя*, и вся книга получила характеръ логической схемы, единственное достоинство которой заключается въ изложеніи содержанія главнѣйшихъ произведеній поэзіи.

Этого-то ученаго взялъ себѣ въ руководители г. Миллеръ. Онъ обязанъ ему не только главною мыслью своего труда, но и большею частью его матеріала: другихъ новѣйшихъ сочиненій онъ касался только слегка[2]), ибо «изъ существа его задачи само

---

1) См. замѣтк., недавно изданный Пикте: Les mystères des bardes. 1856. Bruxelles.

2) Исключеніе дѣлаютъ старое сочиненіе Genthe и превосходное собраніе Jolowicz'a: Polyglotte der Orient. Poesie, съ которыми нашъ авторъ знакомъ довольно близко.

собою явствовало, что для рѣшенія ея спеціальныя изслѣдованія были бы рѣшительно неумѣстны: съ одной стороны *недостаточны*, съ другой *излишни*!»

Слѣдуетъ, однако, оговориться: между Розенкранцомъ и нашимъ авторомъ, при всемъ видимомъ сходствѣ ихъ историко-литературныхъ понятій, есть глубокое и важное различіе.

Многочисленными и долголѣтними трудами по литературѣ, философіи, исторіи Розенкранцъ выработалъ себѣ извѣстный взглядъ на предметъ и счастливо сумѣлъ помирить — на сколько это возможно — спекулятивное направленіе гегелиста съ положительнымъ серіознымъ взглядомъ историка. Мы разумѣемъ добросовѣстную передачу фактовъ и отсутствіе тѣхъ уродливорѣзкихъ приговоровъ, какіе встрѣчаются на каждомъ шагу у г. Миллера. Система много повредила нѣмецкому ученому: изъза нея онъ часто жертвовалъ правильностію взгляда (такъ, напримѣръ, поэзію Ирана онъ отдѣляетъ отъ ея индійскаго первообраза и относитъ къ отдѣлу магометанской поэзіи, и т. д.); но этотъ недостатокъ не сдѣлалъ его книги окончательно безполезною при занятіяхъ исторіею поэзіи, тогда какъ сочиненіе г. Миллера можетъ похвалиться этимъ качествомъ вполнѣ и безпрекословно. Розенкранцъ, не выходя изъ заповѣднаго круга системы, почти всегда остается вѣренъ исторической точкѣ зрѣнія; напротивъ, г. Миллеръ почти никогда не слѣдуетъ ей и остается лишь вѣренъ своей основной мысли о великой безнравственности всего рода человѣческаго, «вслѣдствіе несовершенства и паденія сдѣлавшейся его удѣломъ». Отъ различія во взглядѣ произошло различіе и въ характерѣ самыхъ сочиненій. Трудъ Розенкранца, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, все же историческое изслѣдованіе, а сочиненіе нашего автора — юридическая докладная записка о безнравственности и поэтическомъ развратѣ нашихъ почтенныхъ предковъ. Тихъ и миренъ да будетъ могильный сонъ ихъ, и да не смутится онъ суетнымъ голосомъ, не уполномоченнымъ ни знаніемъ дѣла, ни прямымъ, безпристрастнымъ взглядомъ на него!

Послѣ этого необходимаго отступленія, обратимся къ самому сочиненію «О нравственной стихіи въ поэзіи», къ его фактической части.

Выше мы видѣли, какъ осторожно обошелъ г. Миллеръ *мелкіе* историческіе факты, обезопасивъ себя мыслью, что «для выполненія его задачи необходимы только явленія крупныя, въ коихъ творческая сила народа выказалась во всей полнотѣ»; теперь, въ исторической части, мы находимъ достаточное объясненіе такого понятія.

Для изслѣдователя, чуждаго посторонннхъ внушеній, историческія данныя такъ обязательны, такъ важны, что онъ не рѣшится произнесть своего приговора, не скрѣпивъ его положительнымъ и честнымъ изученіемъ дѣла. Торопливыя, преждевременныя заключенія по двумъ-тремъ, хотя и *крупнымъ*, явленіямъ, обнаруживаютъ или плохое знакомство съ предметомъ, или непростительную уступку въ пользу предубѣжденія или какой-нибудь домашней симпатіи.

Надо отдать справедливость нашему автору въ строгой послѣдовательности и вѣрности однажды принятымъ началамъ. Рѣшивъ заранѣе, что до *извѣстной* исторической эпохи «нравственность каждаго и даже великаго народа болѣе или менѣе односторонняя», онъ поступилъ бы крайне неосмотрительно, если бы рѣшился выйти на широкое, чистое поле историческихъ фактовъ: такимъ рѣзкимъ протестомъ стоятъ они противъ его главной мысли! Но онъ не ходилъ такъ далеко и ограничился только новыми оригинальными варіаціями на тему старыхъ, общественныхъ фактовъ, подводя имъ тѣ удивительные итоги, образчики которыхъ мы имѣли случай показать выше.

Передъ взглядомъ его историческіе факты блѣднѣютъ до того, что онъ принужденъ бываетъ собственнымъ умомъ восполнять ихъ внутреннюю пустоту и длинными нравственными сентенціями скрадывать недостатокъ содержанія. Отсюда произошла такая мозаическая помѣсь личныхъ оригинальныхъ мнѣній съ историческими данными, что неопытный читатель можетъ прини-

сать индійскому Вальмикѣ или греческому Аристофану то, что, по всей справедливости, принадлежитъ только г. Миллеру. Гдѣ же дѣло коснется какихъ-нибудь общихъ выводовъ и заключеній, то онъ, вѣрный своей основной мысли, щедрою рукой разсыпаетъ такія оригинальныя воззрѣнія, которыя невольно приведутъ васъ къ печальному убѣжденію «о великой *ограниченности* человѣческой природы, вслѣдствіе несовершенства и паденія сдѣлавшейся его удѣломъ».

Особенно преслѣдуетъ автора его теорія первобытнаго совершенства. Заговоритъ ли онъ объ олицетвореніи предметовъ природы въ индійской поэзіи — и онъ открываетъ въ немъ «*поэтическое* воспоминаніе о томъ состояніи человѣка, когда природа дѣйствительно была ближе къ нему, когда онъ могъ отдыхать на груди ея, *не опасаясь вреднаго вліянія стихій*, когда въ каждой былинкѣ прозрѣвалъ онъ нѣчто духовное — невидимую силу Божества, постоянно ближнаго душѣ человѣка, еще *не помрачившейся злоупотребленіемъ своей воли*» (стр. 38). Разоблачите эту индійскую характеристику и переложите ее на простой русскій языкъ, вы получите въ результатѣ два вывода: первый, вполнѣ справедливый, что было время, когда человѣкъ ближе и непосредственнѣе относился къ природѣ; второй, — что въ это время человѣкъ не опасался вреднаго вліянія стихій и не омрачался злоупотребленіемъ своей воли. Любопытно знать, откуда почерпнулъ г. Миллеръ такія любопытныя метеорологическія и психологическія подробности. «Чистота и теплота чувства любви и *тонкость* въ выраженіи его индійской поэзіи, *безъ сомнѣнія*, есть тоже какъ бы отблескъ первообразнаго состоянія человѣческой природы, которое нашло себѣ пріютъ, не смотря на то, что въ дѣйствительности перевѣсъ чувственной любви уже получилъ право гражданства» (стр. 27). И «чистота, величіе чувствованій, которыя мы встрѣчаемъ въ поэзіи Оссіановой, принадлежитъ (къ) инстинктамъ добра, сохраняющимся въ человѣчествѣ, какъ уцѣлѣвшая доля *первобытнаго его совершенства*» (стр. 106).

Мы очень наклонны повѣрить справедливости такихъ объяс-

ній автора: такъ легко и свободно прилагаются они ко многимъ фактамъ исторіи поэзіи, если бы не случилось двухъ обстоятельствъ, значительно подрывающихъ наше довѣріе: первое — происходящій отсюда отрицательный взглядъ на природу человѣка, и второе — несогласимое противорѣчіе идеи съ историческими явленіями. Все это отразилось и на сочиненіи г. Миллера.

Злоупотребленія воли, темныя дѣйствія воли — вотъ термины, которыми онъ обыкновенно живописуетъ природу человѣка. Самые добрые инстинкты ея онъ не рѣшается приписать ей самой, ея собственнымъ силамъ, а обращается къ своей теоріи и въ ней подыскиваетъ приличное объясненіе. «Человѣкъ отъ природы золъ и своеволенъ, въ немъ борются два противоположныя начала: добра и зла, онъ есть самъ виновникъ своихъ дѣлъ добрыхъ и злыхъ, но чаще злыхъ, ибо онъ осмѣлился свободу своей воли направить противъ закона нравственнаго, онъ палъ, и это паденіе есть корень всѣхъ горестей и превратностей его жизни». Таковъ вообще взглядъ на человѣка русскаго послѣдователя дуалистическаго ученія Зороастра. Иначе и быть не могло. Человѣческій умъ въ своихъ сужденіяхъ руководится исключительно категоріей противоположности, сравненія: коли далекое доисторическое время представляется моимъ глазамъ въ розовомъ свѣтѣ, какъ образецъ или совершенство, то чѣмъ далѣе я отхожу отъ него, тѣмъ болѣе мрака и заблужденія, тѣмъ извращеннѣе становится, въ глазахъ моихъ, человѣческая природа, когда-то свѣтлая и совершенная, а нынѣ руководимая темными дѣйствіями воли, наклонностію ко злу, и т. д. Жаль только, что нашъ авторъ до конца не преслѣдовалъ этой мысли, а остановившись на извѣстной эпохѣ, сдѣлалъ поворотный кругъ назадъ, конечно, опять къ совершенству... Разсматривая человѣка какъ почву, на которой обильно всходятъ плевелы, и находя источникъ этого въ темныхъ дѣйствіяхъ воли, г. Миллеръ не пощадилъ и не сдѣлалъ уступки и въ пользу человѣческой плоти: съ крайнимъ омерзеніемъ онъ отзывается о *незаконномъ* рожде-

стонъ правъ плоти и духа и сочувствуетъ, напротивъ, восточнымъ и средневѣковымъ походамъ противъ правъ плоти, вмѣняя въ нравственную обязанность убѣгать всѣхъ соблазновъ *бреннаго* міра сего. Въ самую безвинную красоту онъ мещетъ перуны, какъ красоту преходящую, временную, ничтожную передъ вѣчною красотой духа; воображеніе его, человѣка призваннаго къ жизни духовной, рисуетъ ему подлѣ очаровательной головки страшный и отвратительный черепъ, въ который суждено ей обратиться, можетъ быть, чрезъ нѣсколько лѣтъ; среди благоуханія ароматовъ чудится ему смрадный воздухъ гніенія, и «по самымъ *роскошнымъ* (?) членамъ его какъ бы ползаютъ уже черви, готовые со временемъ уничтожить ихъ красоту» [1])... Но довольно, набросимъ скорѣй покрывало на эту мрачную картину, начертанную искусною кистью нашего автора. Нѣтъ, говоря словами Жоржъ-Сандъ: nous n'avons plus affaire à la mort,— и все это, весь этотъ мрачный взглядъ на природу человѣка такъ далекъ нашего времени, такъ противоположенъ его задачамъ и вѣрованіямъ, что мы находимъ излишнимъ и, скажемъ болѣе, *невозможнымъ* вступать въ споръ съ г. Миллеромъ. Пусть судятъ сами читатели, награждавшіе справедливымъ осужденіемъ тожественное направленіе «Маяка» и извѣстнаго критика комедіи г. Островскаго: «Не такъ живи, какъ хочется». Съ своей стороны мы замѣтимъ только одно. Говоря о положеніи женщины въ средніе вѣка и о супружескихъ отношеніяхъ, авторъ прибавляетъ, что «нравственность этой эпохи была слишкомъ юна, чтобы дорости до такого *мощнаго* чувства долга, которое бы заставляло *любить мужа* только потому, *что онъ мужъ*» (стр. 180). Слишкомъ юна... а наша современность уже слишкомъ стара передъ этимъ требованіемъ: она *переросла* его и оставила далеко за собою автора съ его мощнымъ долгомъ. На-

1) Собственныя слова автора, стр. 220. Смотри также стр. 68, 125, 189, 191, 197, 43, 84. Эти мѣста всего яснѣе показываютъ *современность* понятій г. Миллера.

прасно только онъ рѣшается предписывать такое правило, не справясь напередъ — захотятъ ли другіе признать его истину; а все происходитъ отъ темныхъ внушеній *духа*, мысленнымъ очамъ котораго человѣкъ является въ видѣ дикаго звѣря, имѣющаго нужду въ нравственномъ или физическомъ намордникѣ.

Отъ смерти перейдемъ къ жизни, къ противорѣчіямъ мысли г. Миллера съ историческими явленіями и самой съ собою. Это нашъ punctus consolationis, окончательно утверждающій нашу вѣру въ человѣка и убивающій довѣріе къ теоріи первобытнаго совершенства.

Вотъ слова г. Миллера: «По мѣрѣ удаленія отъ поры младенчества человѣчество утрачивало многіе добрые инстинкты; но врожденное нравственное чувство не могло быть утрачено имъ вполнѣ, а прирожденныя уму его высшія понятія не только не оскудѣвали, но, по мѣрѣ того, какъ человѣчество развивалось, становились глубже и зрѣлѣе, хотя иногда и зарождались въ нихъ заблужденія!» (стр. 46). Какъ же это? Чѣмъ болѣе человѣчество развивается и удаляется отъ поры своего младенчества (ибо это удаленіе и составляетъ развитіе), оно теряетъ многіе добрые *инстинкты*, и вмѣстѣ съ тѣмъ его высшія понятія становятся глубже и зрѣлѣе. «Нравственныя понятія во время Софокла, по мнѣнію автора, были зрѣлѣе и глубже, нежели при Омирѣ» (стр. 48), а между тѣмъ Гомеръ ближе къ эпохѣ младенчества греческаго народа и слѣдовательно ближе къ истинному понятію о добрѣ и нравственности. «Несправедливости, насильства, злодѣянія — являются у г. Миллера — какъ *неизбѣжныя* принадлежности всякаго *первобытнаго* общества» (стр. 110), тогда какъ по его теоріи тутъ слѣдовало бы быть высокимъ нравственнымъ качествамъ и истинному понятію о назначеніи человѣка, потому что чѣмъ ближе человѣчество къ эпохѣ своего младенчества, тѣмъ свѣжѣе сохранялются его добрые нравственные инстинкты, тѣмъ менѣе возможности для зла и порока.

Съ одной стороны теоретическое царство абсолютной правды, съ другой — трезвая сфера историческихъ данныхъ влекутъ къ

себѣ нашего автора, и онъ не знаетъ, какъ устоять между двухъ такихъ сильныхъ водоворотовъ. Какъ бы чувствуя свое неловкое положеніе, но не желая поступиться кровною мыслію, онъ беретъ *мудрое* правило средины и допускаетъ такое неприглядное объясненіе: «теперь, *кажется*, уже разочаровались въ этомъ (первобытномъ) обществѣ: оно прекрасно только въ *нѣкоторомъ* смыслѣ, то-есть въ немъ есть уцѣлѣвшія природныя начала добра, которыя часто оскудѣваютъ въ періодѣ *полуразвитія*, но въ немъ и *бездна* зла — слѣдствіе грубости» (стр. 110). И, Боже мой! куда должна дѣваться при такомъ взглядѣ ваша смѣлая и хитрая теорія первобытнаго совершенства: ужъ коли и въ *первобытномъ* обществѣ вы находите *бездну* зла и такую малую толику добра, то не лучше ли, оставивъ сумрачную миѳическую область, когда *люди* не были *людьми*, взглянуть прямо въ глаза человѣку безъ затаенной мысли о паденіи его природы? Тогда бы вы счастливо избѣжали и тѣхъ рѣзкихъ противорѣчій на какія мы уже указывали и будемъ имѣть случай указать ниже, и нравственныхъ охулокъ тому, во что глубоко вѣритъ наша современность.

Недалекое знакомство г. Миллера съ наличнымъ капиталомъ исторіи литературы, какъ науки, отразилось на его книгѣ многими печальными явленіями.

Въ исторіи поэзіи каждаго народа не только чрезвычайно важно, но и крайне необходимо, отличать двѣ эпохи, два періода времени, разнящіеся другъ отъ друга какъ по направленію и характеру, такъ и по конечнымъ цѣлямъ. Это эпоха непосредственной художественной дѣятельности народа, эпическій періодъ его жизни, и время позднѣйшей, чисто литературной дѣятельности. Встарину поэзія живѣе касалась народной жизни, чѣмъ во времена послѣдующія. Она составляла необходимую, важнѣйшую часть ея — и ея цвѣтомъ окрашивались даже самыя мелкія житейскія обиходныя подробности. Далекій отъ позднѣйшаго отвлеченнаго пониманія поэзіи, какъ искусства, простолюдинъ, тѣмъ не менѣе, былъ поэтомъ во всѣхъ обстоятельствахъ

жизни: во взглядѣ на видимую природу и свои отношенія другъ къ другу и къ вѣкожизненнымъ богамъ, правящимъ міромъ. Поэзія въ тѣ отдаленныя времена составляла одно нераздѣльное цѣлое съ религіей и всякимъ убѣжденіемъ и широко входила въ народную жизнь, обнимая всѣ ея отправленія. Эта-то живая связь всѣхъ жизненныхъ элементовъ народа съ поэзіей и породила богатство народныхъ сказаній, пѣсенъ, сказокъ, пословицъ, отмѣченныхъ чертами свѣжей, поразительной красоты и составляющихъ нынѣ предметъ особаго вниманія науки.

Понятно, послѣ этого, какое высокое значеніе имѣетъ такъ-называемый эпическій періодъ народной жизни для историка: только здѣсь, въ эту эпоху, поэзія принадлежитъ всему народу сообща и прямо относится къ жизни его, какъ необходимый нравственный элементъ, безъ котораго эта жизнь была бы черезчуръ бѣдна и неправѣтлива. А далѣе — на сцену выступаетъ дѣятельность частныхъ лицъ, преслѣдующихъ свои частныя цѣли и стремленія, является литература общества, часто рѣшительно противоположная прежней творческой дѣятельности цѣлаго народа. И поэзіи теряетъ свое всеобъемлющее значеніе и то прямое отношеніе къ народной жизни, какое имѣла она въ то время, когда была принадлежностію цѣлаго народа и прямо отвѣчала на его жизненныя потребности.

Нѣтъ нужды много говорить о томъ, какое высокое значеніе имѣетъ народная поэзія для изслѣдователя, задачею котораго было прослѣдить развитіе нравственной стихіи въ исторіи поэзіи. Кажется, г. Миллеръ самъ чувствовалъ это; по крайней мѣрѣ въ этомъ насъ убѣждаютъ его слова, которыми онъ отдастъ народной поэзіи нравственное преимущество передъ поэзіей искусственной. «Эта (народная) поэзія, говоритъ онъ, при всей *грубой недоконченности образовъ* (?!), набросанныхъ, впрочемъ, мощною кистью, преимущественно отличается *нравственностію* основнаго начала» (стр. 6.)

Дѣйствительно такъ! Но почему же дѣло и остановилось на этомъ объясненіи? почему г. Миллеръ, понимая высокое значе-

ніе народной поэзіи, отвелъ ей такой малый уголокъ въ своемъ трудѣ и даже не обратилъ вниманія на внутреннее отличіе ея произведеній отъ позднѣйшихъ литературныхъ явленій, принадлежащихъ уже личному вдохновенію образованнаго писателя? Такой печальный фактъ снова приводитъ насъ къ мысли о недалекомъ знакомствѣ автора съ современнымъ состояніемъ исторіи литературы, какъ науки, хотя по нѣкоторымъ цитатамъ мы въ правѣ предполагать въ немъ такое знакомство.

Какъ все высокое, прямо относящееся къ жизни, чуждое лжи и умышленнаго обмана, народная поэзія вся зиждется на чисто нравственной основѣ и имѣетъ конечною цѣлью удовлетвореніе подчасъ чрезъ мѣру возмущеннаго людскою неправдой нравственнаго чувства слушателя, она непосредственно и прямо дастъ отвѣтъ на всѣ живые запросы народа, облегчаетъ грудь отъ накопившихся болей и заботъ, которыми полнится низменная жизнь простолюдина. Возьмите любой сборникъ народныхъ произведеній и вглядитесь въ ихъ заключенія: передъ вами раскроются всѣ симпатіи народа, его нравственный взглядъ на житейскія отношенія; ибо какъ пѣсня, такъ и сказка — сказывается *добрымъ людямъ на послушаніе*, веселымъ мо́лодцамъ на утѣшеніе. Чуждаясь сухой дидактики, эпосъ, тѣмъ не менѣе, высоко нравствененъ и поучителенъ.

Закрывъ глаза на этотъ богатый родникъ народнаго творчества, г. Миллеръ добровольно лишилъ себя лучшаго и плодотворнаго матеріала. Но ему, какъ мы показали въ предыдущей статьѣ, желалось не исторической, реальной нравственности; онъ становится выше, на точку зрѣнія нравственности а́бсолютной, и отсюда уже обозрѣваетъ *крупныя* явленія исторіи поэзіи. Понятно, что съ такихъ горнихъ странъ и народный эпосъ могъ показаться фактомъ мелкимъ, незначительнымъ. Въ этомъ обстоятельствѣ, какъ мы думаемъ, главнымъ образомъ кроется причина историческихъ ошибокъ автора: его неловкое и неправильное толкованіе фактовъ, неумѣнье отличить явленія дѣйствительно важныя отъ несущественныхъ и, наконецъ, многія оригинальныя

объясненія, происходящія долею и отъ *воспоминанія* о первобытномъ совершенствѣ.

Если нашъ авторъ съ одной стороны — моралистъ, то съ другой — онъ спекулятивный философъ. Въ нашъ практическій вѣкъ, не уважающій отвлеченныхъ и неприложимыхъ къ жизни идей, старинная философская эстетика окончательно утратила свой кредитъ и годъ отъ году приходитъ въ забвеніе. Для полной философіи искусства еще не готовы матеріалы, а строить умозрительную храмину на пескѣ — занятіе не достойное ни современной науки, ни серіознаго человѣка. И, должно сказать правду, всѣ подобныя попытки приводили къ жалкимъ и несостоятельнымъ результатамъ. Стоитъ только припомнить судьбу всѣхъ нѣмецкихъ эстетикъ послѣдняго времени и нашихъ русскихъ подражаній имъ. Выведенныя a priori, онѣ не произвели рѣшительно никакого благаго вліянія на уразумѣніе законовъ искусства и остались непризнанными наукой. Казалось, достаточно такихъ поразительныхъ примѣровъ, чтобы на время, пока не будутъ разработаны матеріалы, новоздержаться отъ эстетическихъ умозрѣній; но сочиненіе г. Миллера убѣдило насъ въ противномъ. Наклонный къ отвлеченіямъ и желая притомъ сохранить оригинальность мысли, онъ строитъ слѣдующее логически-умозрительное зданіе для поэтическихъ произведеній. Приведемъ его собственныя слова: они не много займутъ мѣста.

«Для полнаго овеществленія *поэтической идеи* (?) необхо«дима не только сила творчества, но и строгая законченность въ «самыхъ мощныхъ созданіяхъ его (?!). И въ этомъ отношеніи «поэзія не рѣдко раздѣляетъ общее несовершенство человѣческихъ «начинаній. Мы встрѣчаемъ произведенія, высокія по мысли и «основнымъ ударамъ рѣзца (!), но лишенныя докончености: та«ковы многія произведенія индійской поэзіи, которую мы рѣ«шаемся потому назвать *поэзіею мысли* по преимуществу (!?). «Напротивъ, поэзія греческая можетъ назваться *поэзіею вымо«женія*, тогда какъ по возвышенности нравственнаго начала она «не рѣдко уступаетъ поэзіи индійской. Недоработанностью и не-

«ровностью въ выполненіи отличается преимущественно поэзія «инстинктивная (?) или такъ-называемая устно-народная, вы-«ливающаяся изъ творческой силы народа, безъ всякаго *созна-«нія ими законовъ искусства*[1]), безъ всякаго предваритель-«наго соображенія и *критической* повѣрки умомъ», и т. д. (стр. 6).

Къ чему могутъ послужить подобныя классификаціи исторіи поэзіи? Конечно, ни къ чему. Ваши познанія нисколько не просвѣтлѣютъ отъ нихъ и пониманіе исторіи поэзіи ни на шагъ не подвинется впередъ, а скорѣе придетъ въ бо́льшую запутанность. Дѣло въ томъ, что такое раздѣленіе, подобно тому, какъ мы встрѣчаемъ это и у Розенкранца, есть совершенно внѣшнее, формальное, и давно оставлено наукою. Оно безсильно ввести читателя въ жизненные интересы народа и раскрыть передъ нимъ живую картину его поэзіи и связь ея съ самою жизнью. Поэзія есть живая народная сила; дробить ея произведенія по рубрикамъ — значитъ, по малой мѣрѣ, обращать вниманіе только на одну ея форму и пренебрегать дѣйствительнымъ живымъ содержаніемъ, рѣзать цѣльный организмъ по живому въ угоду своей наклонности къ формальнымъ системамъ и отвлеченнымъ постройкамъ.

Равномѣрно и фактъ *неровности* и *недоработанности* произведеній народной поэзіи есть фактъ несущественный и неважный. Эпосъ обнимаетъ всю жизнь человѣка съ ея тяжелыми и свѣтлыми минутами, и смотрѣть на него съ точки зрѣнія одной формы есть такой же ограниченный и недалекій взглядъ, какъ еслибъ кто сталъ заключать о нравственныхъ качествахъ человѣка на основаніи физическаго признака, ставящаго его на одну линію съ *двуногими* животными. Если цѣлыя сотни поколѣній находили въ народной поэзіи удовлетвореніе своимъ духовнымъ потребностямъ и черпали изъ нея новыя, свѣжія силы для жиз-

---

1) О, великій Буало! какъ долго твой ученый колпакъ виситъ надъ глазами нашихъ эстетиковъ-умозрителей.

ненной борьбы, то здѣсь вопросъ о формѣ — право, вопросъ пустой и безплодной схоластики.

Комизмъ грековъ и римлянъ авторъ раздѣляетъ на *смѣшное въ положеніи* и *смѣшное въ характерахъ*, не замѣчая, что первое — только предшествующая фаза литературнаго развитія, и фаза далеко не такая низкая, какъ онъ полагаетъ. Увлекшись эстетическою мыслью о необходимости характеровъ въ поэзіи, онъ произноситъ строгій приговоръ надъ Аристофаномъ, говоря, что въ его комедіяхъ «нѣтъ ни одного почти человѣческаго характера, а какое-то собраніе въ отдѣльныхъ людяхъ различныхъ порочныхъ поступковъ, не составляющихъ ничего психологически общаго» (стр. 72). Съ точки зрѣнія отвлеченной — это вѣрно; но потому-то типы Аристофана и были современны и имѣли значеніе, что они указывали на вопіющія отступленія отъ того, чему, по его понятіямъ, должно было быть. Ясно, что нашъ авторъ придаетъ слишкомъ мало значенія соціальному смыслу комедій Аристофана, тогда какъ это первое и самое важное.

Устарѣлая, ложная мысль, лежащая въ основѣ всего труда, видимо крѣпнетъ и мужаетъ, благодаря плохому знакомству автора съ современнымъ состояніемъ науки исторіи литературы. Когда умъ не обремененъ *излишнимъ* знаніемъ, ему бываетъ какъ-то просторнѣе: онъ судитъ рѣшительнѣе и смѣлѣе, безъ той мелочной осторожности, какою напрасно затрудняютъ себя многіе ученые; онъ не боится ошибки, потому что не предчувствуетъ трудности дѣла, за которое берется. Иные выставляютъ это дорогое качество какъ признакъ цѣльности ума, не тронутаго тлетворнымъ дыханіемъ *ложной* науки, другіе называютъ это просто невѣжествомъ; но г. Миллеръ не даетъ ему никакого опредѣленнаго названія, а рѣшается собственною особой выступить на такую дорогу.

Подъ вліяніемъ узкаго взгляда на народную эпическую поэзію, авторъ узко понимаетъ и ея важнѣйшіе историческіе моменты: такъ, напримѣръ, значеніе животнаго эпоса осталось

совершенно неизвѣстно ему, не смотря на то, что онъ много разъ указываетъ на классическую книгу Гримма, Reinhart Fuchs, гдѣ именно находится самое удовлетворительное объясненіе этого любопытнаго и важнаго явленія въ исторіи поэзіи. Въ одномъ мѣстѣ своей книги онъ даже прибѣгаетъ къ такому объясненію, простота и умилительность котораго возвращаютъ душу читателя къ первымъ временамъ его дѣтства и школьнаго ученія. Въ самомъ дѣлѣ, какъ не почувствовать себя отрокомъ при чтеніи слѣдующаго ланкастерскаго способа разъясненія фактовъ исторіи литературы: «Понятія человѣка объ отношеніяхъ его къ вещественной природѣ и къ міру животныхъ отразились въ индійской поэзіи также съ младенческимъ простодушіемъ. Кто обращалъ вниманіе на маленькихъ дѣтей, тому *должно* быть извѣстно, что дѣти способны дѣлать вопросы какой-нибудь *кошечкѣ*, давать пить деревянной *лошадкѣ*. Дайте ребенку поиграть какимъ-нибудь предметомъ, и *если вамъ* захочется взять его обратно, то скажите только, что этому предмету пора спать, возьмите и положите; и дитя не заплачетъ: оно будетъ вѣрить, что неодушевленный предметъ можетъ спать какъ оно само» (стр. 36). И просто, и хорошо! А между тѣмъ, этимъ наивнымъ объясненіемъ порѣшенъ вопросъ о происхожденіи животнаго эпоса. Правда, ниже говорится еще, «что индійцы, вѣруя въ переселеніе душъ, глядѣли на животныхъ не нашими глазами; для нихъ животное должно было казаться болѣе уважительнымъ, ибо въ немъ могла заключаться душа усопшаго и усопшаго близкаго человѣка»; но вѣроятно этому предположенію самъ авторъ его не придавалъ большаго значенія, послѣдующія его слова служатъ тому лучшимъ и рѣшительнымъ доказательствомъ: въ нихъ онъ прямо — и прибавимъ отъ себя: вполнѣ справедливо — говоритъ, что «явленіе природы олицетворяется на основаніи *своихъ* собственныхъ свойствъ — олицетворяется потому, что человѣкъ въ отношеніи этого явленія къ другому подмѣтилъ что-то похожее на человѣческія отношенія и тотчасъ придалъ имъ человѣческій образъ». Совершенно справедливо! Но зачѣмъ